КАЯ КНИГА РЕДКАЯ КНИ
ИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКА
АЯ КНИГА РЕДКАЯ КНИ

КАЗАЧЬЯ ИСПОВЕДЬ
...
ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошло повествование Н.А. Келина о своей и других казаков-эмигрантов жизни на чужбине после бегства из России в 1920 г.

- Николай Келин
  - Вместо предисловия
  - Николай Келин
    - Моя родословная
    - Детство
    - У.М.Р.У
    - Перед бурей
    - Накануне
    - Дантов ад
    - Начало конца
    - На Кубань
    - Кавказ
    - Белый Крым
    - В Турцию
    - В Прагу
    - Желив
    - Во время протектората
    - Как это было
    - Встречи с Шолоховым
    -

Николай Келин
Казачья исповедь

Вместо предисловия

Перед нами — суровая книга. Она о судьбе казаков после Октябрьской революции, о судьбе русских эмигрантов и беженцев, военнопленных и перемещенных лиц, оказавшихся в странах Европы после лихолетья гражданской, а потом и второй мировой войны.

Собственно, это — два повествования под одной обложкой. Первое из них — «Казачья исповедь» Николая Келина — рассказ о судьбе одного казака-эмигранта. Она печатается впервые. Об авторе ее нет нужды говорить подробно: он сам рассказывает о себе в этой исповеди. Быть может, стоит добавить только, что русская эмиграция знала его стихи и статьи. А нам в России еще предстоит узнать Николая Келина, незаурядного казацкого поэта. Быть может, его земляки-донцы соберут и издадут его стихи, разбросанные по малотиражным и труднодоступным для нас эмигрантским газетам и журналам.

Многое пришлось пережить казаку. Но его судьбу мы можем считать счастливой, хотя и трудной. В этом убеждают нас и последние строки его исповеди:

> «Моя жизнь уже идет к концу. Уходя с любимой мною земли, оставлю здесь только сумбурные воспоминания да терпкие песни о Родине. Годы ничего не изменили в моем отношении к ней, и я уйду с затаенной мечтой: настанет время, когда на карте Европы снова загорится неугасимым пламенем дорогое для меня имя — Россия…»

Мечта Николая Келина начинает сбываться сегодня, но еще долог и тяжек путь к ней…

В. В. Дробышев.

Николай Келин
Казачья исповедь

Поехал казак на чужбину,
На добром коне он своем вороном.
Свою он навеки покинул краину,
Ему не вернуться в отеческий дом…

Из казачьей песни

От издательства: Выражаем искреннюю признательность Алексею Николаевичу Келину (г. Прага) и Юрию Константиновичу Шугрину (г. Москва) за содействие в публикации рукописи Н. А. Келина «Казачья исповедь».

Моя родословная

Среди пахучих полынных степей с бесконечными шляхами, седыми курганами, покрытыми чабрецом да алыми шапочками татарника, затерялся небольшой казачий хуторок Майорский. Он входил в юрт станицы Клетской. Тут-то в 1856 году и родился мой дед Иосиф Федорович Кузнецов — дед по матери.

С него начинаю потому, что он меня воспитывал. А когда-то, принимая его на широкие шершавые ладони, прадед мой, Федор Иванович, дончак с грудью Ильи Муромца, неодобрительно хмыкнул: «Ледащий казачишко будет. Кожа на ем дюже белая…» Но прадед ошибся. Вырос статный, голубоглазый казачонок, пытливо всматривающийся в окружавший его мир. Паренек тянулся к грамоте, но ни бумаги, ни карандашей в казачьем курене не было. Тогда он начал собирать свинцовые пломбы, которые иногда находил на отрезах сукна для казачьих шароваров и чекменей. Расплавив свинец, выливал через камышинки самодельные карандаши. А бумагу заменяли оструганные дощечки. Кто-то из грамотных казаков научил его азбуке. Но такое рвение к грамоте закончилось для мальчишки не

лучшим образом: суровый отец, узнав, что тот научился читать, выгнал его из дома.

— Ишь, сукин сын, больше батяни захотел знать! — заключил по-своему и отправил любознательного отрока в подпаски.

Я видел этого человека только раз в жизни, когда мы с дедом Осипом по дороге в Петербург ехали через хутор Майорский. Помню, распрягли лошадей. И вот из-под огромной вербы, стоящей среди просторного двора, поднялся широкогрудый старик в парусиновой рубахе.

— Богатеешь, Оська? Все дела заели? — недружелюбно приветствовал нас прадед. — Жара-то, гляди… — Потом помолчал и добавил: — Садитесь обедать.

Из погреба принесли огромный кувшин разведенного холодной водой *портошного* молока, которое на казачьих хуторах приготовляли из топленого, скисшего молока, накладывая его в казачьи портки. Там оно еще более скисало и приобретало острый вкус Наверное, способ приготовления был перенят еще от татар или иных степных кочевников. В казачьих станицах в жару и на покосах всегда пили этот чудесный, освежающий напиток, развозя его в больших глиняных кувшинах. Часто в кувшины добавляли кусок льда.

…Дед недолго пас табун в степи. Как-то по дороге в Петербург возвращался то ли с Кавказа, то ли из Новочеркасска донской генерал. Или это был Иловайский, представитель донской аристократии, или другой свитский генерал — дело не в этом. Шустрый мальчишка, подошедший к стану вельможи, понравился генералу, и он увез паренька в Петербург, предоставив ему беречь его парадный кивер. Но недолго паренек берег кивер генерала Иловайского — подрос, похорошел и сдали его в дворцовую мастерскую — швальню — вышивать золотом воротники и обшлага мундиров придворной знати да латать штаны императоров. Дед пережил троих императоров. Рассказывал, как он был на улице в марте 1881 года, когда на Екатерининском канале бомба разорвала Александра II. Говорил, бывало: «Красавец был царь!» Вспоминал, как жутко было в те дни на улицах, как сразу же, когда разнеслась весть об убийстве, начали закрывать магазины. А об Александре III говорил, что он был похож на огромного дворника. Как-то в Петербург приехали французский президент и немецкий кайзер. Александр III в это время где-то у пруда или речки сидел с удочкой. Ему доложили о приезде гостей. На это он спокойно ответил: «Когда русский император удит рыбу — Европа может подождать».

Бежали годы. Подошла русско-турецкая война 1876–1877 годов, и дед, скопив по пятачкам двадцать рублей, ушел с

донской батареей под Плевну и Шипку. Оттуда, возвратясь на Дон, осел в станице Клетской, которую за частые половодья прозвали Донской Венецией. Вскоре дед женился на шустрой черноглазой казачке Евфимии, поразительно похожей на турчанку. Долгожданный сын-казак не родился — Евфимия подарила Осипу девчонку совершенной восточной красоты, где турецкие кровя, как говорили на Дону, ярко преобладали. Девчонка — моя мать — вытянулась стройной тростинкой, на которую заглядывалась вся станица. Когда ей стукнуло шестнадцать годков, дед решил подобрать в дом хорошего зятя, который бы заменил сына. Но странное дело — дед не взял казака в зятья, хотя по казачьей психологии иногородний, то есть не природный казак, не считался полноценным человеком. Самоучкой научившийся грамоте, дед всегда говорил мне: «Смотри, Колюшка, наука — это все. Перед человеком, который университет окончил, нужно стоять, держа руки по швам. Сидеть невежливо. Я вот мечтаю из тебя человека сделать. Ты первый в наших родах будешь, кто в университет пойдет. В Швейцарию пошлю. Есть там два города — в одном по-французски учат, а в другом — по-немецки» (дед имел в виду Цюрих и Лозанну).

Но война 1914 года помешала исполнить эту заветную мечту старого казака, который был на плохом счету у попов, так как не ходил в церковь, что в станице в те времена было просто немыслимо. Не раз поп Иоиль, настоятель Знаменской церкви, говорил щурясь:

— А что это, Иосиф Федорович, вы в церковь не ходите? Не вижу вас там, не вижу…

— Времени, батюшка, не хватает. Семья большая — работы много. Вот состарюсь, вырежу из орешника костылик и буду ходить к вечерне, — говорил, усмехаясь, дед.

Забегая вперед, скажу, какова была психология у казачьей молодежи. Когда в 1915 году я приехал на каникулы в станицу в форме Императорского лесного института (позже я был принят в Военно-медицинскую академию в том же Петрограде) — на плечах у меня было что-то непонятное казакам станицы: императорские вензеля и короны. И вот мой двоюродный брат по бабке Андрюшка Орлов, чуть младше меня, спрашивает:

— Николай! Ты на кого же это учишься? На попа?

— Нет! — говорю.

— На ахвицера? — не отступает оторопевший Андрюшка.

— Аль на царя?.. — шепчет в священном ужасе казачонок, смотря на мои студенческие наплечники и орлиные, фасонистые, накладные пуговицы. Вот каково было представление и умонастроение станичников, среди которых жила наша семья.

Поп. Офицер. Царь… а дальше только недосягаемый Бог. И вот тут среди этого средневековья мой дед был как бельмо в глазу.

А теперь о моем отце. Это был человек изумительной доброты. Песельник и весельчак, помню, в компаниях он всегда был окружен смеющейся толпой. А песни пели казачьи, часто украинские, конечно, и русские. Отец прожил очень тяжелую молодость с мачехой, довольно долго служил в приказчиках у одного из торговых воротил Царицына — Свечина или Лапшина, Дед шил казакам залихватские фуражки, которые буквально шли нарасхват, а отец их продавал. Дела шли бойко, и семья преуспевала, имея возможность дать высшее образование трем моим сестрам. А я только начал высшую школу и ушел добровольцем на фронт. Но об этом позже.

Предки отца числились государственными крестьянами и, как с гордостью всегда подчеркивал он, никогда не были крепостными. Пришли они на Дон из Рязанской губернии, Зарайского уезда, села и волости Нижний Белый Омут. Мне всегда приятно было сознавать, что оттуда вышли академик И. П. Павлов, Сергей Есенин, предки Шолохова и много иных известных русских людей. Происходя из крестьян, с незапамятных времен осевших на Дону, отец мой на одном из станичных сходов был принят в казаки. Отсюда и я стал сыном казачьим.

Мать, первая красавица в станице, модница, народив пять детей, беззаботно прожила до самой революции, но всех детей воспитывал дед и бабка Евфимия, человек золотого сердца. В революцию она погибла где-то в Кубанских степях. О родине отца я почти ничего не знаю. Жил в станице его отец Иван Лаврентьевич со второй женой и тремя детьми от нее да дядя, кажется, портной. Ни они к нам, ни мы к ним не ходили. Зато всегда у нас полон дом был родни со стороны бабушки Евфимии Борисовны. Главным образом бывали ее сестры — круглая, как шар, Параня и миниатюрная, худенькая бабушка. Писана, похожая на нестеровскую монашку. Она была вдовой. Муж ее был убит под Шипкой, и казаки привели домой только его коня. Вот и все, что касается моей коротенькой родословной: генеалогическое дерево имеет мало веточек, но корни его идут с Дона-батюшки, Рязани и Турции. Не из палат каменных, не из кряжистых купеческих хором, а из вольных степей Донских и рязанских полей, из гущи народной. А посему и читателю нужно смотреть на мои скромные записки, как на записки о сломанной и сложной судьбе человека из народа, который свой отрыв от Родины, невольный, тяжело переживаемый, хочет осветить в ином аспекте, чем это делали авторы многих эмигрантских воспоминаний.

Детство

Детство мое было безоблачным. Приспело время — бабка повела меня в двухклассную станичную школу и посадила куда-то во втором или третьем ряду. Ввиду того что отец, как я сказал выше, был совершенно безличным в семье, то нас в станице называли Кузнецовыми. И вот, помню, в класс входит учитель Ефим Игнатьевич Фролов, фигурой напоминающий классического Санчо Панса, с лицом красным, как помидор, и слезящимися, заплывшими глазками. Открыв классный журнал, начинает перекличку:

— Астахов.

— Тут!

— Не тут, а надо говорить: «я», — бубнит, слюнявя пальцы, Ефим Игнатьевич.

— Черячукин.

— Я! — шустро откликается бойкий мальчишка.

— Келин.

И, о ужас, я сижу как пришитый к скамье, и во мне холодеет сердце: «Ну какой же я Келин? Ведь я Кузнецов!..» А учитель снова:

— Келин! Встать!

Я окончательно сникаю и лезу под парту, откуда меня с большим трудом, ревущего благим матом, извлекают и отсылают домой. Придя домой, я категорически отказываюсь от школы. Все улаживает дед: после разговора с Ефимом Игнатьевичем меня уже называют Кузнецовым.

Шел 1908 год. По окончании трех классов начального училища в Клетской я сдал экзамен в Усть-Медведицкое реальное имени атамана графа Платова училище, единственное в округе среднее учебное заведение для мальчиков. Дело в том, что бывший у нас наказным атаманом князь Святополк-Мирский приказал закрыть все классические гимназии во всей Донской области. Именитый «просветитель» будто бы заявил: «Казакам нужны пики и шашки, а не классические гимназии». И область осталась только с реальными училищами, да и то в огромной Усть-Медведицкой станице реальное училище было, кажется, открыто только после революции 1905 года. Я в него попал в 1908 году. Узнав, что я сдал экзамен в реальное, дед категорически заявил:

— Бабка! Не хочу, чтобы мой внук в таком важном деле, как ученье, по чужим квартирам болтался! — И, подумав, добавил: — Завтра же едем в Усть-Медведицу курень покупать.

И действительно, на второй же день дед запряг иноходца в

тарантас — мы всегда держали лошадь, — посадил бабку и меня, и мы двинулись в окружную станицу, которая раскинулась, утопая в садах, на правом, крутом берегу Дона под Пирамидами, поросшими цепкими тернами и боярышником. Клетская в сорока верстах от Усть-Медведицы. Едем хутором Подниженским, присевшим у мелового кряжа, втягиваемся в бесконечную степь: слева маячит старинный голубец, где на Пасху всегда кладут крашеные яички для путников, на помин души — копейки, пятаки; справа — вишневые сады, куда мы нередко ездим варить душистое вишневое варенье. Потом идет широко разбросанная под горой пыльная станица Распопинская. Тут всегда пьем чай у почтаря, старого друга деда, Николая Ивановича Щучкина, казачины грузного и веселого, с бульбовскими усами, кормим лошадь и через хутор Бобровский делаем последний перегон к Усть-Медведице. Бегут телеграфные столбы, где-то знаменитый Гетманский шлях теряется в мареве синих, дрожащих далей, и вот мы въезжаем на Пирамиды. Пирамиды — это один из отрогов Донецкого кряжа, венчающий спуск к станице. Отсюда открывается незабываемый вид на Задонье с его бесконечной поймой и займищем. Под Пирамидами над самым Доном золотится купол Преображенского собора женского монастыря, окруженный россыпью спрятанных келий. Туда по праздникам мы будем бегать за просфорками к матушке Афанасии, просвирне и дальней родственнице бабки. А из Задонья смотрят на тебя бесчисленные голубые окна озер, бисерные островки казачьих хуторов с чуть видимыми дымками. Начинается крутой спуск на главную улицу станицы — Воскресенскую, где в центре доживает свой век отставной полковник, отец нашего земского врача Николая Дмитриевича Егорова. Оказывается, это дед узнал, что тот хотел бы продать в Усть-Медведице дом рядом с реальным училищем.

Николай Дмитриевич был типичным русским интеллигентом, очень похожим на Чехова. Мы знали, что он не переносил ни вида крови, ни боли пациента. И вот, когда фельдшер рвал какому-нибудь дюжему атаманцу зуб, а тот орал благим матом, с порожек больницы кубарем слетал земский врач и стоял у противоположного забора, зажмурившись и туго заткнув уши. Нам, мальчишкам, это страшно нравилось, и, бывало, целыми днями, особенно в базарные дни, когда в станицу съезжалась масса казаков с соседних хуторов и больница была полна пациентами, мы торчали у забора и ждали, как Николай Дмитриевич скатится, по порожкам с заткнутыми ушами и с застывшим ужасом на своем «чеховском» лице. Так вот, к отцу этого эскулапа мы и ехали.

Встретил нас сухонький, малюсенький старичок в военном мундире без погон и, колюче глядя на деда, бросил:

— Чем могу служить, почтенный?

Дед, стоя навытяжку, объяснил цель нашего визита. Сели. О чем-то долго разговаривали. Меня это не интересовало. Потом дед осмотрел зорко и подробно старенький домишко, стоящий где-то в глубине двора в углу, и договорились на трех тысячах.

— Так плати! — обратился дед к бабке. Бабушка высыпала на стол из ридикюля три тысячи рублей — все в золотых монетах. Империалы и полуимпериалы покатились по скатерти стола. Бабка суматошно, закруглив руки, сгребла всю эту сверкающую кучу и придвинула ее к полковнику. Хозяина будто кто-то шилом пихнул под бок. Он весь ощетинился, подскочил на стуле и сухонькой ручкой отшвырнул от себя кучу золота.

— Если бы знал, что будете расплачиваться этими черепками — не продал бы вам дома, почтенный!

Дед опешил, а бабка поспешно начала сморкаться. Оказалось, что старый чудак хотел получить плату в бумажных деньгах, объяснив, что их удобнее хранить. Дед засуетился, сгреб деньги и отправился в казначейство обменять звонкую монету на бумажки. Покупка была завершена.

— Ты, Химушка, — так звал дед бабку — переедешь в Усть-Медведицу. В половину дома возьмем твою сестру Лизавету. Им все равно надо где-то жить. Яков говорил, что она тут с ребятами жить будет, чтобы было подешевле. С них ничего не возьмем, а с ихними ребятами и нашим веселее будет. Идут казаки в гору: гляди, с каких дальних хуторов учиться едут…

Дед, осмотрев еще раз двор, решил, что построит здесь новый жилой дом, так как следом за мною в гимназию должны были поступить мои сестры.

— Жалко, что поздно спохватился. Место-то какое… Буду строить тут гимназию. Не мои внуки, так чужие казачьи дети станут в люди выходить. Казакам не одними лампасами свет смешить!

Удивительный был человек мой дед. Я за свою долгую жизнь никогда не встречал человека, который бы так ценил интеллект и печатное слово. Бывало, принесет смятую, брошенную кем-нибудь бумажку, бережно ее расправит и говорит:

— Посмотри, может быть, что-нибудь ценное в ней написано. А? Печатное и писаное слово беречь надо. На бумажке-то, может, ценные мысли? — И дед не успокаивался, пока бумажка не была разглажена и прочитана.

А гимназию он действительно лет через 5–6 построил. Получилось великолепное здание на главной улице, где, кажется,

в 1913 году и была открыта классическая гимназия. Здание это выгорело во время гражданской войны, а в 1957 году в нижнем этаже его я видел какой-то летний кинематограф…

У.М.Р.У

Сакраментальное слово У.М.Р.У. было выгравировано на щегольских бляхах поясных ремней реалистов. Это покоряло гимназисток и создавало какой-то ореол вокруг нас, вызывая лютую зависть у учеников Духовного и Ремесленного училищ. А означало оно всего-навсего: Усть-Медведицкое Реальное Училище. Форма была щегольская, полувоенная. Черная гимнастерка с орляными пуговицами, традиционный ремень с сакраментальной бляхой, темно-синие штаны с широкими красными лампасами. Помню, когда мы с дедом, бывая в Питере, проезжали на извозчике по улицам, взбудораженные юнкера, заметив красную лампасину, инстинктивно взбрасывали руку к козырьку — отдавали честь, но, заметив, что попали впросак, чертыхались и проходили мимо. Пальто реалиста было из офицерского сукна с красными петлицами. Фуражка — с темно-синим верхом, красным околышем, и все окантовано желтым рантом. Вообще форма нам, мальчишкам, очень импонировала. Так что в 1908 году в училище был такой наплыв учеников, что не хватило мест, и тогда директор Рафаил Николаевич Самецкий предложил родителям вскладчину пристроить в актовом зале перегородку, где бы разместился так называемый параллельный класс. Так и сделали. Я попал в основной, чем почему-то очень гордился. Великолепное здание училища стоит до сих пор. Там сейчас десятилетка. Построено оно было, кажется, в половине девятнадцатого столетия, а станица в годы Советской власти переименована в город Серафимович. Это здесь родился и проводил свою молодость известный советский писатель, друг Ленина, Александр Серафимович Попов (псевдоним — Серафимович), тут же жили донские писатели, теперь незаслуженно забытые, Роман Кумов и Федор Крюков.

Состав преподавателей нашего училища был хороший. Директор — сухой, немного сгорбленный старичок Р. Н. Самецкий, очень похожий на Шаляпина в гриме Дон Кихота, только ростом поменьше. Заядлый шахматист, он преподавал математику. Меня Рафаил Николаевич любил и называл Коляшей. Колоритной фигурой в училище был инспектор Сергей Александрович Афанасьев — огромный, сутулый хохол, люто страдающий ревматизмом; ходил он, морщась от боли, с палкой; на всю чертовщину, которая творилась в нашей казачьей бурсе,

смотрел мрачно, но это был человек золотой души. Мы, кстати, только его и боялись. Он говорил вместо «что» — «шо», и ученики звали его за глаза Серегой. Но самой интересной личностью у нас был мой классный наставник Борис Николаевич Малюга, неоднократно описанный писателем Ф. Д. Крюковым в журнале «Русское Богатство». Оглядываясь назад, имея большой врачебный опыт, я теперь убеждаюсь, что это была глубоко трагикомическая фигура, тяжелый психоневротик, вероятно в молодости или в студенческие годы переживший какую-то политическую коллизию, может быть, он даже побывал в крепких лапах царской жандармерии или охранки. Человек лет сорока, среднего роста, однорукий, лицом он чем-то напоминал молодого Столыпина. Левый рукав его всегда испачканного мелом вицмундира болтался в воздухе. Лицо бледное с фанатическими глазами и большой бородавкой около носа, которую он беспрерывно рвал ногтями. Но больше всего в нашем наставнике поражал его блуждающий взгляд, никогда в отдельности ни на ком не останавливающийся. Это был лютый, неистребимый монархист, буквально с патологическим уклоном. И вот именно на этой-то почве в классах, где он преподавал, разыгрывались ежедневные сцены. На его уроках поэтому обязательно присутствовали или директор, или мрачный инспектор Серега — чтобы водворить сугубый порядок.

В нашем классе с первых же дней вышли на первый план три коновода. Мордастый, похожий на Чингисхана, второгодник Федька Малахов, всех безапелляционно под себя подмявший мальчишка с могучими мускулами, и поджарый, желчный Пашка Сенюткин, почему-то невзлюбивший меня с первого взгляда и наводивший до самой своей смерти на меня панический ужас Он утонул на Пасху в Дону. Кроме этих двух был еще Семка Гаврилов, тоже второгодник, белесый дылда. Он, кажется, дошел со мною до выпуска в 1915 году. Так вот, эта тройка верховодила в нашем классе и, помню, какой-то лютой ненавистью ненавидела Малюгу. Борис Николаевич, как все очень нервные люди, был экспансивен и быстр в движениях. На стул за кафедрой садился как-то рывком, с разбегу. Эту особенность посадки классного наставника учел, кажется, Пашка Сенюткин и прикрепил в сиденье кресла стальное перо острием вверх. Показывая классу кулак, мрачно сказал:

— Убью, если кто скажет, кто это сделал!

И вот урок. Влетевший в класс Малюга с размаху брякнулся на стул и вопя благим матом сорвался с места:

— Разбойники! Тачки вам возить, каторжникам!

На крик в класс явился директор. Опросил весь класс.

Сенюткин не был выдан, за что мы всем классом отсидели чуть ли не неделю без обеда.

Я был примерным учеником, помня завет деда. Малюга меня любил. Но скоро пришло время, когда наш историк и меня возненавидел. А случилось это так. Малюга каллиграфически писал, и его записи в журнале всегда были Образцовы. Особенно красиво он ставил жирные единицы — колы, как у нас говорили. И вот однажды перо, которое лежало на учительском столе, сломали и решили, чтобы никто своего пера для записи в журнал Малюге не давал. Даст Малахов. Так и было. Пришел Малюга. Смотрит — пера нет. Просит у одного, другого, третьего. Нет. Говорят, что забыли. Тогда с «Камчатки» встает Малахов и несет Малюге полено, в которое вставлено перо.

— Это что?

— Перо с ручкой, Борис Николаевич. Я так привык писать, — говорит Малахов.

Малюга ставит ему кол за поведение и убегает за инспектором. Через некоторое время, кряхтя от боли, в класс вваливается Серега, отчитывает нас и садится на мою парту рядом со мной. Класс замирает. Почему-то у меня в кармане оказался стручок красного, острого перца, без которого дед никогда не ел борща. Наверное, для него я и сорвал тот перец на огороде. Вставив в ручку новое перо, я, любуясь им, несколько раз погрузил его в этот ядовитый, страшно щиплющий стручок, и в желобке пера осталась ядовитая мякоть стручка. Вдруг Малюга, глядя на меня, говорит:

— Келин, дайте перо!

Я, как ни в чем не бывало, подаю, он, сладко щурясь, шепчет:

— Новенькое…

И вдруг, прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, он лизнул его. Что потом было — трудно описать!.. Малюга взвыл, выпучил глаза и начал отчаянно отплевываться, стараясь избавиться от ядовитой слюны.

— Мерзавец… отравил! — ревел Малюга. Удивленный инспектор, *сидящий* рядом со мной, недоумевающе, но грозно спросил тогда:

— Шо такое стало?

Я принялся объяснять, мол, играя с пером, вымазал его стручковым перцем и никак не знал, что Борис Николаевич будет лизать перо. Серега укоризненно посмотрел на Малюгу и пробурчал:

— А вы, Борис Николаевич, всякую пакость не лижите! — и вышел из класса. Через минуту вылетел и я. Так Малюга невзлюбил меня, а я его почему-то всегда жалел.

Но был в темном царстве нашей казачьей бурсы и светлый луч. Как-то в училище появился молодой, высокий преподаватель естественной истории Василий Васильевич Костылев. Этот восторженный человек, казалось, без остатка вбирающий всего вас в свою добрую душу, пробыл у нас не более полутора лет, а потом внезапно и бесследно исчез. Поговаривали, что он был политически неблагонадежным, поэтому начальство нигде его долго не задерживало. Василий Васильевич откуда-то из Москвы выписал для нас новый учебник по естественной истории, который заменил нам старый неинтересный, утвержденный Министерством народного просвещения. Как сейчас, помню вкладку на меловой бумаге, где был изображен розовый тюльпан во всех стадиях своего развития. Костылев сумел заинтересовать нас опытами в физическом кабинете, его всегда с нетерпением ждали и любили как доброго старшего товарища.

А самым любимым моим учителем был милейший Сергей Александрович Пинус, преподаватель русского языка. С первого до седьмого класса Сергей Александрович вел меня и держал надо мною охранную руку, может быть, именно он помог мне получить отличный аттестат зрелости, открывший двери во все учебные заведения России. Человек небольшого роста, совершенно лысый, с продолговатым, задумчивым лицом философа и небольшой рыжеватой бородкой, втихомолку он выпивал и страстно увлекался поэзией. Были даже одна или две книжки с переводами Сергея Александровича с древнегреческих классиков. Этот человек помог мне на всю жизнь полюбить русскую литературу, а на выпускных экзаменах буквально спас меня от провала по математике. Но об этом чуть позже. Прежде расскажу о преподавателе математики.

Иосиф Яковлевич Герштейн, еврей по национальности, был моим заклятым врагом, последовательным и упорным. Не знаю, как этот человек попал к нам в область Войска Донского, куда из-за черты оседлости въезд евреям был запрещен. Впрочем, евреи, получившие высшее образование, из этого правила исключались. Так вот, этот крепко сбитый, с чудесными карими, всегда насмешливыми глазами, необыкновенно аккуратный человек инстинктивно и люто невзлюбил меня. Вероятно, он чувствовал, что я терпеть не могу математику. А мы в реальном проходили уже интегральные и дифференциальные исчисления, анализ бесконечно малых величин. Училище-то главным образом готовило кадры в высшие технические учебные заведения. И вот Герштейн решил меня переделать. Помню, входя в класс, он отрывисто бросал:

— Келин! К доске! — И, подумав, добавлял: — Плести

лапти… Я сокрушенно и не спеша выходил из-за парты и неверными шагами шел к страшной доске. Давал математик самые обыкновенные задачи или теоремы для доказательства, но я потел, нервно ломал мел, беспомощно косился на класс, откуда слышались подсказки друзей. А тут Иосиф Яковлевич, улыбаясь и не повышая голоса, обычно говорил:

— Садитесь, Келин! Это сон пегой кобылы, а не доказательство теоремы.

Но самый главный удар по мне Герштейн оставил на конец, на священный день, когда мы сдавали экзамен на аттестат зрелости. Герштейн знал, что мне, одному из первых учеников по всем предметам, усиленно помогает по математике целый класс, и особенно математики, которые терпеть не могли науки гуманитарные и которым я часто писал сочинения по русскому языку. Они плотным кольцом всегда сидели вокруг меня в критические моменты контрольных работ по математике. То же самое было решено проделать и на выпускном экзамене на аттестат зрелости. Помню большой класс около актового зала. Садимся. Я посередине, а вокруг лучшие математики класса. Значит, дело в шляпе. Но Герштейн оказался хитрее нас. Продиктовав задачи, он молча подошел ко мне, взял за руку и саркастически процедил:

— Келин, идите за мной. Возьмите бумагу и задачи! Холодея, я встаю и, как в тумане, иду за Герштейном. И куда бы, вы думаете, он привел меня? В актовый зал, где писали письменную работу по французскому языку ученики 5 класса!..

— Решайте, Келин, задачу. Решите — сдайте мне или комиссии, — сказал и ушел.

Я печально начал рисовать птичек на черновике, сразу же поняв, что задачи мне не решить. На экзаменах обычно между партами ходили так называемые ассистенты, следящие за порядком и за тем, чтобы ученики не списывали друг у друга. Обычно это были преподаватели училища. И вдруг — о чудо! — молча по проходу зала идет, заложив руки за спину, встревоженный Пинус, мой кумир, учитель русского языка. Проходя мимо, он на секунду останавливается и тихо спрашивает:

— Ну, как, не решите?

— Нет, Сергей Александрович, — безнадежно шепчу я и продолжаю рисовать птичек. Пинус молча уходит. Минут через двадцать Сергей Александрович появляется снова и молча кладет мне на парту решенную задачу. Спасен! Начинаю лихорадочно переписывать набело и не замечаю, как пропускаю одно действие. Обождав для приличия еще с полчаса, сдаю работу.

На второй день был перерыв между экзаменами. Пробегая по улице, встречаю Герштейна.

— Послушайте, Келин, — мило улыбаясь, говорит математик, — вы, кажется, творите чудеса…

— А в чем дело, Иосиф Яковлевич? — чувствуя подвох, спрашиваю я с недоумением.

— Скажите, пожалуйста, во-первых: как вы вообще решили задачу? — А потом, помолчав, как по голове обухом: — И почему у вас не хватает в решении задачи одного действия? Логики в работе нет, но задача решена правильно.

Мысли мои проносятся молниями. Мне кажется, что вот Герштейн затянет сейчас меня в училище или домой и заставит повторить решение. Охватывает ужас — ведь я из-за нелюбви к математике даже не попробовал осмыслить ту задачку. Если позовет — крышка.

— Вероятно, Иосиф Яковлевич, пропущенное действие я не переписал с черновика или промокалки… — Нахожусь я и невинно смотрю на Герштейна.

— Ну, вот, чтобы вы действие на промокалках не писали, я и поставил вам вместо пятерки четверку, — заключил Герштейн, ехидно улыбаясь, и пошел вниз по Воскресенской улице.

Через несколько дней предстоял устный экзамен по математике. Не сплю ночей, стараясь нагнать безвозвратно упущенное. На балконе для этого держу ведро с ледяной колодезной водой и, когда нестерпимо слипаются глаза, я окунаю голову в это ведро, чтобы согнать неотвязный сон. Помогает. Но однажды со мной и моим компаньоном, с которым вместе готовились к выпускным экзаменам, случилось следующее.

К нам в станицу из Варшавы приехал знатный польский шляхтич Вацлав Лигенза-Невьяровский — сдавать в нашем училище экзамены на аттестат зрелости. В Варшаве, как он говорил, этому мешали женщины. Врач училища, он же городской врач, Маркиан Иванович Алексеев, который в начале гражданской войны спас мне жизнь (об этом чуть позже), порекомендовал ему поселиться у нас и готовиться вместе. И вот этот изящный и потрясающе вежливый поляк расположился со мною в моей комнате. В одну из душных ночей, утомленные зубрежкой, мы уснули как убитые. Электричества в доме не было. Пользовались большой керосиновой лампой под белым абажуром. Проснувшись под утро, я смотрю на постель Вацлава и вижу, что там лежит негр! А Вацлав, открыв голубые глаза, протирает их и начинает бешено хохотать, глядя на меня. На столе догорает лампа. Из стеклянного цилиндра, как султан, вьется язык черной, дрожащей копоти…

Ну и досталось же нам потом от нашей добрейшей бабушки Евфимии Борисовны. Но при экзаменах все прощалось. На математику, кажется последний, я явился в полном вооружении — во всех карманах десятки шпаргалок, а главное, на внутренней стороне форменного пояса, у самой бляхи, где подвернут конец ремня, переписаны самые сложные, не поддающиеся запоминанию формулы. Писал тушью — четко и ясно — достаточно запустить палец руки за пояс, высунуть конец его и, скосив глаза, переписать.

Помню, у доски, пользуясь всеми этими атрибутами, принялся решать задачу. Все шло хорошо. Вдруг за спиной слышу иронический шепот директора училища Самецкого, пришедшего посмотреть на выпускные экзамены.

— Тонешь, Коляша?

— Нет, Рафаил Николаевич, все хорошо.

— А почему же ты за спасательный пояс держишься? — говорит добрый старик и, шаркая туфлями, выходит из класса.

Я оканчиваю задачу и тоже выхожу. В коридоре меня встречает ревущая толпа одноклассников:

— Ну, как? Что?

— Думаю, что пятерка, — отвечаю и пробираюсь из толпы, чтобы сообщить радостную весть дома. Но счастье было, как оказалось, коротко и надежды на благополучный исход преждевременны. Открылась дверь экзаменационной, и второй учитель математики — рослый, хлыщеватый поляк Казимир Владиславович — истошно кричит:

— Келин, назад! Идите сюда!

Я с душой в пятках возвращаюсь в класс и вижу Герштейна, что-то объясняющего комиссии.

— Послушайте, Келин, — обращается он ко мне. — Комиссия не может понять: как вы, плохо знающий математику, блестяще решили письменную и сейчас на пятерку сдали устно? Возьмите мел. Пишите.

Мне надиктовали новую задачу, которую я под пристальными взглядами нескольких церберов, конечно, не решил. Поставленная пятерка была переправлена на четверку, и так у меня в аттестате зрелости за исключением всех пятерок по остальным предметам остались две четверки по математике.

Заканчивая воспоминания об училище, расскажу об одном памятном для меня случае, который, признаюсь, долго травмировал мою психику. Усть-Медведица была в 40 верстах от моей родной станицы Клетской. На все каникулы — летние, пасхальные и Рождественские — мы, конечно, перебирались туда, на место нашего безмятежного детства. Ехали или на санях по

замерзшему Дону, или в тарантасе. Не помню точно, в каком я тогда был классе. Кажется, во втором. И вот на 6 января в станице — торжественное водосвятие. Съехалось много казаков из окрестных хуторов. Знаменская-то церковь в Клетской была удивительной красоты. Такой я не видел ни в одной из станиц Дона, даже в окружной Усть-Медведицкой. Говорят, что архитектор перепутал планы и выстроил эту красавицу у нас, хотя она должна была украшать площадь какого-то города или одной из окружных станиц. Под пасхальную заутреню мой первый учитель Ефим Игнатьевич Фролов, большой затейник, с ватагой станичных мальчишек, как правило, украшал все карнизы церкви, чуть ли не до самых крестов, ярко горящими плошками. Для этого заранее заготавливали сало, фитили. Церковь светилась, как реющее в воздухе бесплотное видение, а с колокольни плыл неповторимый, бархатный баритон огромного колокола, слышимого на 20 верст в округе. Помню, когда изумительный мастер своего дела Иван Курносое начинал трезвонить на шести колоколах нашей колокольни, то сладко замирало сердце, неописуемый восторг наполнял душу и хотелось или плакать от радости, или смеяться. Однажды я не выдержал переполнившего меня восторга при изумительном перезвоне колоколов на Пасху и пошел вприсядку. Присутствовавший при этом отец, сам натура очень чуткая, не понял меня и дал мне подзатыльник.

— Вот, болван! Там святая заутреня идет, а он пляшет…

Так вот, началось водосвятие, торжественное и, как всегда, длинное. На дворе стоял лютый крещенский мороз. Я, помню, в новенькой шинели и сибирской мохнатой папахе, как тогда ходили, забрался на колокольню к самым колоколам, чтобы лучше видеть торжество, и устроился поудобней около одной из решеток. И вот, опершись подбородком о ту решетку, я ни с того ни с сего вдруг лизнул железную перекладину. Язык моментально примерз к железу. Пробую оторвать его силой — не получается. Скребу ногтями. А язык с каждым движением прилипает все больше и больше. Единственный способ освободиться — это поливать язык и железо водой. Но воды на колокольне нет, и я с глазами, полными ужаса, начинаю глухо мычать и отскребать язык от железа зубами. Кровь течет по подбородку, по моей новой щеголеватой шинели, и я наконец освобождаюсь.

С тех пор праздник Крещения был для меня самым тяжелым днем в году. Что еще добавить ко всему этому? Реальное училище я закончил блестяще и получил право на поступление во все высшие учебные заведения империи. Но уже шла первая мировая война, и вместо учебы я угодил на военную службу вольноопределяющимся. Дед нанял мне какого-то старого

учителя семинарии, латиниста, который должен был за три месяца каникул натаскать меня на дополнительный экзамен по латыни, как это у нас часто делалось. Этот экзамен сдавался в учебном округе в Харькове. Я взял пару уроков, прозанимался месяц, потом плюнул на это дело и махнул в Клетскую.

Перед бурей

Прежде чем перейти к описанию событий, изломавших мою жизнь, как, впрочем, и большинства моих соотечественников, расскажу о самом для меня дорогом — о медицине, о том, как я пришел к ней, как стал врачом.

Еще когда мы жили в Клетской, в нашем старом доме, мальчонком, помню, забирался я в угол, где висели шубы, и наслаждался запахами йодоформа и карболки от приходившего к нам фельдшера. А во втором классе училища меня уже прозвали доктором, и вот по какому поводу. Был у нас в классе ученик Федя Долгов. Большого роста, статный. Парень хоть куда. Но вот беда — от рождения у него был поразительно красный нос. Это, конечно, мучило Федю. Любя беззаветно медицину, я часто проводил каникулы да и вообще свободное время в нашей земской больнице, помогая там в аптечке готовить мази и порошки, а позже даже удостаивался чести сидеть у стола в станичной амбулатории, когда фельдшер или знакомый врач принимали больных. Дома у меня был целый шкаф со всевозможными лекарствами, а вместо марок я собирал сигнатуры рецептов, как тогда делали в аптеках, когда выдавали лекарство: рецепт врача оставляли в аптеке, а копия на длинной бумажке — сигнатуре прикреплялась к выдаваемому лекарству. Из прочитанных медицинских учебников, которых у меня было полно (дед вместо подарков привозил), я знал, что йод вообще рассматривается как отвлекающее. Ну, раз у Феди нос красный, а йод отвлекающее, так легко помочь. Отвлечем покраснение внутрь. Я предложил Феде помощь, и он согласился.

Придя домой, я решил приготовить Феде мазь на нос. В аптечке была у меня баночка с кристаллическим йодом, из которого делаются настойки и мази. Подумал: настойка слишком банальна. Приготовлю мазь. Беру ланолин, вазелин и кристаллики йода. Утром передаю Долгову этот состав, советую сделать из бинта так называемый пращ и завязать нос на ночь.

На второй день иду в школу. Ищу Долгова, но его еще нет. И вот перед самым уроком вваливается Федя. У носа держит носовой платок и, подойдя ко мне, с размаху бьет меня по голове тяжелым ранцем.

— Погляди, что ты со мною сделал, дурак! — Он отнимает от носа платок — и класс покатывается от смеха. Вместо носа у Феди сплошное кровавое пятно: кожа слезла всюду, где ночью была приложена моя «целебная» мазь…

Таким образом Федя стал первым моим пациентом, а я

получил на все время моего пребывания в реальном кличку «доктор». Простите мне это маленькое отступление, но без него не совсем ясен был бы мой дальнейший жизненный путь.

Приехав домой и сняв копии с документов, я сейчас же подал прошение в Императорский Лесной институт имени Павла I в Петрограде, а на всякий случай копию аттестата на экономическое отделение Петроградского Политехнического института имени Петра I. Туда принимали абсолютно всех, кто окончил среднюю школу. Почта в Клетскую приходила два раза в неделю: в среду и субботу. Возил ее на почтовых Яков Лавров, брат нашего аптекаря, из Усть-Медведицы. Приезжал вооруженный шашкой и револьвером, обложенный кожаными баулами. По этим дням у почты обычно ждала его целая толпа жителей станицы.

В один из вечеров я, обрадованный до слез, принес домой пакет с зеленой казенной печатью из Петрограда: приняли в Лесной институт! За ним вскоре пришел и пакет из Политехнического — тоже зачислили. Все, казалось, было бы в порядке, но вот почтмейстер привез толстый пакет с сургучной печатью и фирменной надписью Лесного института. Вскрываю тут же и с недоумением читаю: «Ввиду того что вы не прошли по конкурсу, возвращаем вам ваше прошение и аттестат зрелости». Теперь у меня на руках было два удостоверения — на одном написано, что я принят, а на втором, что нет. Иду, ошеломленный, домой. Вся семья в панике: 15 или 16 августа призыв в армию тех, кто не попал в высшую школу. Правда, у меня про запас есть еще удостоверение о приеме в Политехнический, но туда мне совершенно не хочется. Рассвирепевший дед заявляет:

— Вот, мерзавцы! Наверное, чиновники на место нашего кого-нибудь из маменькиных сынков приняли. Завтра в четыре часа утра едем в Питер.

До станции Лог 60 верст, потом до Питера почти трое суток — и мы в канцелярии института. За столом перебирает бумаги какой-то циклоп — одноглазый чинуша с черной повязкой по лицу.

— Что изволите? — спрашивает у приготовившегося к бою деда.

— Вот ваше извещение о принятии моего внука в институт, — вкрадчиво начинает дед и протягивает бумажку. — Пожалуйста, покажите его документы.

— Но он же принят, и документы пока останутся у нас, — говорит циклоп, предчувствуя что-то неладное. Тогда дед, разъярившись, бросает ему мой аттестат, возвращенное прошение

и извещение о том, что я не прошел по конкурсу. Что тут было — предоставляю вообразить себе читателю. На крик в канцелярию степенной походкой вошел грузный мужчина и, смотря через очки на ту сцену, тихо спросил:

— Господа! В чем дело? Что тут случилось? Дед, обернувшись к нему, поинтересовался:

— Ас кем имею честь? Кто вы такой?

— Я директор института Александр Петрович Фан дер Флит. Это был знаменитый профессор, который читал теорию корабля на кораблестроительном отделении Политехнического института и по совместительству исполнял обязанности директора Лесного. Подтянувшийся дед щелкнул каблуками, представился и неожиданно выпалил:

— Посмотрите, ваше превосходительство, что этот вот молодчик у вас делает. Он думал, что мы, мол, глухая провинция, проглотим, но он забыл, что мы казаки! Я бы из него душу вытряс!

Директор все уладил и, глядя на расходившегося старого казака, приказал протелефонировать в Петроградское воинское присутствие, что такой-то является студентом института и освобождается от военной службы. С легким сердцем дед затем завел меня куда-то в Гостиный двор и купил два комплекта институтской формы. Одна пара была праздничной, вторая — для будней. Облачившись прямо в магазине в новую форму, я чувствовал себя именинником. Пришли на Пушкинскую в номера Пименова, где дед после смерти брата всегда останавливался. Это первая улица влево, если идти от бывшей Знаменской площади к Адмиралтейству, недалеко от памятника Пушкину. Сняли мы комнату во втором этаже. Я к этому времени уже начинал покуривать, конечно, в строжайшей тайне от деда, который, чтобы я не пристрастился к этой пагубной привычке, сам бросил курить. И вот сидим как-то в номере и закусываем. Кто-то постучал.

— Войдите!

В дверях показывается лохматая фигура.

— Господин студент! Ради Бога, одолжите спички! — просит незнакомец.

Я вспыхнул, зная, что он встречал меня в коридоре с папиросой, и, вскочив, рванул вниз за спичками. Вскоре я вошел в узкую полутемную комнату, где у окна на столе в беспорядке были расставлены бутылки, закуска, разложенная на бумажках. В номере было сизо от дыма. На полу валялись книги, а за столом сидели еще два субъекта.

— Познакомимся! — говорит тот, кому я бегал за

спичками. — Александр Грин. Пишу, видите ли… А вот он, — показывает на соседа, — лучший поэт России…

Это был Блок.

— Садитесь и берите рюмку! За ваше здоровье!

И так мы сидели, пока бутылка не оказалась пустой. Тогда Грин встал, взял одну или две свои книги, как сейчас помню, в зеленых обложках и, спросив мою фамилию, размашисто надписал: «Моему молодому другу на память. А. Грин». Но этим, к сожалению, дело не кончилось. По-видимому, ни у Грина, ни у Блока в данный момент не было денег, а попойке предстояло продолжиться. Тогда Грин решительно заявил:

— А теперь вы, молодой человек, сбегайте за водкой! Я совершенно растерялся и говорю:

— Но у меня нет денег! На это Грин:

— А зачем вам тужурка и рубаха? Тужурку сейчас продадим! Ошарашенный и вконец растерянный, я сорвался со стула и вылетел из комнаты. Так состоялось и окончилось мое мимолетное знакомство с замечательным русским писателем Грином и гениальным Блоком. На своем жизненном пути я встречался с чопорным и надутым Буниным и с суматошной, но оригинальной писательницей Марие́ттой Шагинян. Обе встречи произошли в Праге, но эта встреча в Петрограде с Грином и Блоком почему-то особенно остро запала мне в память.

С легким сердцем мы возвратились домой в станицу, где бабка обмерла от радости, узрев меня в невиданной форме. Но недолго я пробыл в любимой станице, покупался в батюшке-Дону. В одну из наших рыбалок с моими станишными друзьями в июле 1914-го от сестер, пришедших к Дону навестить нас, я узнал о начавшейся мировой войне. Тогда я проделал от восторга воинственный танец, и, помню, от страха у меня сжалось сердце при мелькнувшей мысли: как бы эта война не окончилась раньше, чем я на нее попаду…

Судьба решила иначе. Приближалось начало занятий в институте, и вскоре я отправился в путь. Провожая меня, дед посуровел и, глядя в глаза, сказал:

— Смотри, Коля, будь осторожен. Не запутайся там… Помни — на большую дорогу тебя посылаю! Ты будешь первым в нашем роду, кому посчастливилось пойти в высшую школу. Вот окончишь, тогда делай что хочешь — твое дело.

Так я расстался со станицей и юностью и вышел в широкий неласковый свет. В Петрограде я поселился в Лесном, где-то у Серебряных прудов на 2-м Муринском. Жил в комнатушке один, но скоро перебрался в огромную, вечно студеную комнату, к своим приятелям. Из них в памяти остался только наш Усть-

Медведицкий Сашка Крюков, поджарый, с хрящевитым носом казак, которому дед регулярно присылал из станицы по копейкам собранные три рубля и который почему-то этого стыдился.

В институте я появлялся только на лекциях и практических занятиях по предметам, общим с медицинским факультетом, больше околачивался около Военно-медицинской академии на Выборгской стороне и, конечно, у студентов-медиков. А война шла. По городу ползли зловещие слухи о выходках сибирского мужика при императорском дворе. Газеты были полны сенсаций. С фронта поступали тревожные слухи о том, что в кровопролитных боях выбили почти весь кадровый офицерский состав, что царь, по совету английского посла Бьюкенена, отослал гвардейские полки, охраняющие трон и столицу на фронт, — чтобы они овеяли свои гвардейские знамена боевым, пороховым дымом. И что их там пустили в лобовые атаки на пулеметы и колючую проволоку, а в столицу якобы вернулись только овеянные порохом знамена — гвардейцев повыбили. Поговаривали, что это хорошо, так как в состав гвардейских полков при пополнении легко вольются революционные элементы. Недалекое будущее это подтвердило.

В Петрограде жила семья Михеевых, куда я хаживал очень часто. Там меня, неотесанного, степного мальчишку, учили светским манерам. Семья состояла из пожилой дамы и ее сына, студента-кораблестроителя. Муж этой дамы, полковник артиллерии, сошелся с подругой моей матери модисткой Еленой Одинцовой, а сына Митю и жену бросил. Они постоянно жили в Питере, а Андрей Степанович в Усть-Медведицкой, где я с ним часто встречался. Его брат, генерал от кавалерии Александр Степанович Михеев, в бытность свою наказным атаманом Терского войска ловил знаменитого на Кавказе Зелим-Хана, а впоследствии был назначен или в Сенат, или в Государственный совет. Раз или два по дороге в Петербург он заезжал к нам в Клетскую, останавливался у нас и вел с дедом долгие беседы. Единственный сын этого сенатора был флигель-адъютантом последнего царя.

Приблизительно через месяц после приезда в Питер я решил попытаться, используя свои новые знакомства, попасть в Военно-медицинскую академию. Поговорил с флигель-адъютантом, и он дал мне письмо к лейб-медику Двора Ивану Павловичу Жегалову, который снабдил меня рекомендацией к начальнику академии генерал-майору Маковееву. Написав прошение и захватив рекомендательное письмо, бодро являюсь в академию. В вестибюле — ливрейный цербер. Спрашиваю:

— Могу к начальнику?

— Нет! Сегодня нет приема.

Тогда, подавая ему письмо Жегалова и широко улыбаясь, выпаливаю:

— Передайте — я от лейб-медика Двора.

Картина моментально меняется: швейцар щелкает каблуками, почтительно берет письмо, и через минуту я вхожу в кабинет начальника академии. Маковеев, рыжеватый, плотный старик, стоит против меня за конторкой и смотрит через очки, сдвинутые на кончик носа.

— Ну-с, что скажете, молодой человек? Вы знакомы с Иваном Павловичем? — спрашивает он внимательно, как-то по-бычьи рассматривая меня.

— Да, знаком. Я прошу ваше превосходительство принять меня в число слушателей Военно-медицинской академии. Моя заветная мечта! — выпаливаю я.

— А латынь?

— Латынь сдам в течение года, ваше превосходительство!

— Хорошо. Вы приняты. Заказывайте форму и приходите на лекции, — и кладет резолюцию на моем прошении. — Но предупреждаю, если вы не сдадите латынь до Рождества, то я отправлю вас рядовым на фронт! Рекомендую вам остаться в этом году в Лесном, тем более что на первом курсе предметы общие, за исключением разве анатомии. Сдадите там и латынь…

Мысли скачут — прикидываю туда, сюда и соглашаюсь с Маковеевым. А при выходе в коридор меня догоняет присутствовавший при разговоре делопроизводитель и огорчительно говорит:

— Ну и глупость же вы спороли, господин студент! Ну какая же там латынь, если вы придете на экзамены в форме академии? Это же пустая формальность!

Я растерялся и хотел вернуться обратно к начальнику, а делопроизводитель, улыбаясь, добавил:

— Решение менять неудобно, молодой человек. Так-то. Нужно было сразу соображать.

Прожженный в столичных интригах чинуша, по-видимому, не знал, что сын Донских степей делает только первые, неуверенные шаги в своих жизненных университетах…

Но вот пришла весна, и меня неудержимо потянуло на простор, в наши лазоревые степи. К тому же упорно начали поговаривать, что правительство вынуждено будет призвать студентов в армию, в военные школы, чтобы пополнить офицерские кадры. Разумеется, я не стал ждать — написал прошение, взял аттестат и махнул прямо к начальнику артиллерийского училища. А дня через два поезд мчал меня на

родимый Дон.

Накануне

Пара недель, проведенных на Дону, пролетела, как сон. Отцвели лазоревые цветики, и, попрощавшись с обмершей бабкой и сурово настороженным дедом, я через необъятную матушку-Россию помчался в Петроград. Константиновское артиллерийское училище встретило меня массой новых, невиданных впечатлений. Наш курс состоял не из кадет, как обычно, — на этот раз собрались сплошь студенты, инженеры, судьи, и во всем выпуске оказалось только три кадета. Наука была суровой, репетиции сменялись репетициями, жизнь бурлила, как в котле, но и за стенами училища было неспокойно.

Шел 1916 год. Как-то декабрьской ночью усатый юнкер Федулов принес свежую газету с сенсационным сообщением об убийстве Распутина. Вся батарея гудела как встревоженный улей до самого утра, пока дежурный по училищу не навел порядок. До производства нас в офицеры оставалась неполная неделя. Поминутно обсуждалось — приедет ли на производство император, как это всегда традиционно бывало в военных училищах столицы.

Наконец наступил долгожданный день. Царь не приехал — вместо него явился генерал Маниковский, начальник артиллерии империи. Плотно сбитый человек среднего роста с бульдожьим, не умеющим улыбаться лицом, поздравил нас с производством в первый офицерский чин. Белый зал вздрогнул он могучего «ура». Маниковский, стоя посреди зала, призывно махнул рукой, ряды смешались, и мы окружили его. Он двинул речь, которая у меня осталась в памяти на всю жизнь.

— Господа офицеры! Сейчас вы разойдетесь по частям. Прошу принять к сведению: приказание, — сказал он раздельно, — исполнять беспрекословно! — Потом, помолчав, добавил: — А кто лезет туда, где опасно и куда не посылали, — дур-р-рак! Разойтись!

Вот и вся речь. Но нам было и не до нее. Впереди маячила заманчивая будущность — тревожная, неизвестная…

Распрощавшись с друзьями, как оказалось, навсегда, я отправился на Невский, накупил там подарков сестрам и на первый день Рождества, весь запорошенный снегом, промерзший, вошел в родительский дом. На второй день уже отбыл в Саратов в распоряжение начальника 4-й запасной артиллерийской бригады, где формировались батареи, отправляющиеся на фронт, и где я встретил февральскую революцию. По дороге меня обворовали.

До сих пор жаль чудесного портсигара, который на радостях купил себе на Невском…

В бригаде я получил назначение во 2-ю батарею. Командовал ею полковник Тархов, старшим офицером был милый пожилой прапорщик запаса Усов. Других офицеров я не помню. Командиром дивизиона был занозистый, барского вида, поляк полковник Завадский, которого в начале революции убили солдаты. А бригадой в Саратове командовал генерал-майор Заяц — мужчина плотный и добродушный, похожий на соборного дьякона. С места в карьер я подал ему рапорт с просьбой об отправке меня на фронт, но сразу же получил нагоняй:

— Ждать! Начальство лучше знает!..

Я устроился недалеко от Ильинских казарм, где была расположена бригада, и стал ждать. Саратов — город как город. Масса войск. Широкая красавица Волга с ее пристанями, где снуют пароходы обществ «Самолет» и «Меркурий». Главная магистраль — Скобелевская — переименована из Немецкой. Тут недалеко были немецкие колонии Поволжья. А на другом берегу туманным пятном распласталась слобода Покровская. В городе постоянно пахло жареными подсолнухами, так как на окраине — маслобойные заводы, мимо них ежедневно я проезжал в Артиллерийский городок.

В одно из февральских воскресений в конце месяца отсыпался. В половине двенадцатого меня вдруг разбудил мой денщик Василий и доложил, что из бригады явился связной и принес мне казенный пакет. Срочный! Вскрываю конверт и читаю: «С получением сего явитесь к 12 часам дня в Государственный банк на Константиновской в распоряжение полковника Генерального штаба…» Смотрю на часы и — о ужас! — времени в обрез, а конь в Ильинских казармах, а я в постели… Вскакиваю, посылаю Василия за извозчиком и, забыв надеть шашку, стрелой вылетаю на улицу. Извозчик уже ждет. Василий приносит шашку, и мы во всю лошадиную прыть влетаем ровно в 12 часов на Константиновскую.

На улице у Государственного банка масса подвод. На розвальнях сидят-полицейские, около каждых саней — конный солдат. Во дворе — суматоха. Чиновники и солдаты с огромным напряжением вытаскивают из подвалов во двор банка небольшие, приблизительно метр на полтора, ящики с какими-то номерами и знаками. Нахожу полковника, рапортую и получаю приказ принять команду над охраной — до распоряжения. Странные ящики по два ставят на дровни. Я в недоумении спрашиваю у подвернувшегося чиновника банка:

— Что это такое?

Он, улыбаясь, отвечает:

— А вы попробуйте, господин офицер, поднять ящик.

Я обеими руками ухватился за канатную петлю и не смог даже оторвать ящика от земли.

— Ого! Что же это такое?

Чиновник таинственно зашептал, наклонясь к моему уху:

— Часть золотого запаса государства Российского, господин офицер, — потом оглянулся и добавил: — В Питере будто бы неспокойно. Запас пойдет в Сибирь… Или в Самару, или в Уфу…

Забегая на много лет вперед, скажу, что я и много других русских студентов — государственных стипендиатов в Чехословакии, впоследствии учились, по-видимому, на проценты охраняемого мною когда-то золотого запаса. Во всяком случае, упорно говорили, что чешские легионеры тот запас вывезли к себе через Владивосток. Иначе, на какие бы деньги в Праге в начале двадцатых годов был основан один из богатейших банков страны, так называемый Легиобанк. Да и ходившие к моему тестю высокопоставленные русские чехи эту версию подтверждали. Так или иначе, волею судеб я принимал в погрузке золотого запаса деятельное участие. А приехав в Золотую Прагу, окончил там медицинский факультет Карлова университета, твердо уверенный, что учусь на проценты с русского золота, которое я помогал грузить в феврале 1917-го в Саратове.

…Еще вечером 28 февраля ничто будто бы не предвещало никаких событий. Ходили, как обычно, трамваи, гоняли извозчики — все казалось обычным и будничным. Саратов готовился спать. Я был назначен дежурным офицером по гарнизону и, проверив караулы у пороховых погребов за городом, пошел наверх в помещение, где обычно проводил ночь дежурный офицер.

И вот уже после двенадцати слышу шаги — уверенные, солдатские. Вскакиваю. Входит, держа руку под козырек, начальник караула и взволнованно рапортует:

— Ваше благородие! В батареях неспокойно. Мы задержали какого-то вольноопределяющегося с кипою листовок. Раздавал по батареям. Солдаты волнуются.

— Ведите задержанного сюда! — приказываю караульному начальнику. Через несколько минут ко мне приводят вольноопределяющегося с большой кипой прокламаций под мышкой. Парень лет двадцати пяти, самоуверенный, наглый. Строго смотря на него, спрашиваю:

— Послушайте, что это вы делаете? Знаете, что за такие штуки военно-полевой суд?.. Сдайте сейчас же прокламации караульному. Я вынужден вас задержать!

Но вольноопределяющийся, по-видимому, калач тертый и, вероятно, знает, что делает.

— Не делайте этого, ваше благородие. Это могло бы принести вам много неприятностей, — твердо заявляет он.

Я, политически совершенно неграмотный, буквально опешил перед этим типом. Но долг взял свое, и я строго заявил, что должен снестись по телефону с начальником бригады. Звоню генералу. Телефон молчит. Звоню командиру дивизиона полковнику Завадскому. Тихо. Звоню полковнику Тарзову, командиру моей батареи. Результат тот же. А между тем вольноопределяющийся исчез, унтер, растерянный начальник караула, говорит:

— Посмотрите, ваше благородие, что в казармах делается… Не решившись сделать выговор отпустившему агитатора унтеру, я с бьющимся сердцем иду в казарму. Во дворе невообразимый хаос, шум, крики… В конюшнях ржут встревоженные кони. Всюду бегают солдаты с фонарями. Ездовые выводят лошадей и запрягают в орудия. Где-то в глубине двора у цейхгаузов требуют почему-то выдачи боевых патронов. Вообще суматоха несусветная. Тогда я подхожу к орудию, становлюсь на верхнюю часть лафета и, стараясь перекричать толпу, обращаюсь к солдатам:

— Братцы! Да что с вами? Куда же это вы? Из ближайших рядов отвечают:

— В город, приносить присягу.

— Кому? Как? Ночью? — кричу надрываясь и слышу:

— Царь отрекся от престола… Сейчас из Петрограда сообщение получили. Там революция в полном разгаре…

— Но куда же вы пойдете ночью? Какая может быть присяга сейчас? Подумайте! Это же бессмысленно гнать куда-то сейчас батареи… Все выяснится, и утром пойдем к присяге… — увещеваю я притихшую, но настороженную толпу.

Лошадей выпрягают, разводят по конюшням, а двор продолжает гудеть как встревоженный улей. Думаю, как же надо мало — только искры, только сотни прокламаций, подброшенных исчезнувшим агитатором, — и котел тысячелетней империи взорвался!

Время идет к рассвету. Часов в 6–7, еще затемно, в канцелярии сходятся офицеры, встревоженные, немного растерянные, но командир батареи полковник Тархов тверд, стукнув кулаком о стол, он кричит:

— Сейчас прикажу запрячь батарею и всю эту сволочь картечью разнесу!..

Сдав дежурство, я прошу комбата разрешить мне на белом

арабском жеребце съездить в город на разведку — посмотреть, что там делается. Тархов махнул рукой, и я выехал из Ильинских казарм.

Города нельзя было узнать. По улицам шли толпы солдат, у некоторых были расстегнуты шинели, хлястики сзади болтались, что вызывало немалое удивление, так как еще вчера все было строго подтянуто и отвечало воинскому ритуалу. По улицам двигались огромные процессии с неизвестно откуда появившимися лозунгами на красных полотнищах. Вообще красный цвет преобладал. Проехав на Митрофановскую — главную площадь города, где стоял, если не ошибаюсь, губернаторский дворец, я обратил внимание, как в процессию вливались воинские части, толпы пешеходов, и, взвесив ситуацию, возвратился в казармы.

Наши батареи уже получили приказ строиться и готовились к отходу. Взяв вестового, я снова вернулся на площадь, где уже застал начальника гарнизона, нашего бригадного генерала Зайца, стоящего у небольшого столика и аналоя, на котором лежали Евангелие и прочие атрибуты религиозного культа. Рядом, растерянно посматривая по сторонам, стояли священнослужители. Я пробрался поближе к начальнику гарнизона и стал ждать, что будет.

И вот воинским шагом пошли запасные полки. Пошли к присяге Великому князю Михаилу Александровичу, опальному брату отрекшегося царя. Помню, когда прошла уже добрая треть или четверть войск, прискакал ординарец со срочным пакетом генералу Зайцу. Тот, вскрыв пакет, растерянно посмотрел на окружающих его священников и офицеров и взволнованно проворчал:

— Что же, господа, делать? Великий князь Михаил отрекся от престола… Присягать надо Временному правительству… Вернуть войска?

— Нет, ваше превосходительство, это внесет панику, хаос. Пусть войска идут дальше — им все равно, кому присягать! — посоветовал кто-то.

Так старый Саратов встретил февральскую революцию. Дисциплина пала. Всюду собирались митинги, с балкона губернаторского дворца лились бесконечные речи в толпу, которая всегда кружилась на площади. Иногда, проезжая через площадь, я слышал, как особо забористые и рьяные ораторы кричали: «Наконец-то Николашка Кровавый сбит с проклятого трона! Ур-р-ра-а!» Некоторые горячие офицеры, еще не сжившиеся с мыслью, что монархия пала, слыша такие выкрики, судорожно хватались за кобуру, где дремал вороненый,

безотказный наган. Но, видя лица суровых слушателей этих речей, встряхивались и, чертыхаясь, уходили от греха. А на улицах люди всюду целовались, как на светлое Христово Воскресение, поздравляли друг друга с великим праздником Революции. Многие офицеры ходили с красными бантами, но дисциплина в войсках сильно упала. Лишь фронт, как я скоро убедился, не дрогнул и стальной стеной стоял против врага.

А пока в Саратове большие толпы народа собирались под балконом губернаторского дворца и слушали, что оттуда говорили большевики — совершенно новое для многих понятие. Выступали с речами Куйбышев, Рыков, видел я там и нашего прапорщика Понтрягина. Помню, как он и его друзья еще задолго до революции собирались в офицерском собрании, о чем-то, по-видимому очень важном, вели дискуссии и моментально замолкали, если кто-либо из нас входил в помещение. Не знаю, к какой партии принадлежал прапорщик, но говорили, что он заседал в городском революционном Совете.

Однажды я присутствовал при страшном самосуде. Выехав как-то на Скобелевскую, вдруг услышал крики и увидел толпу солдат, которые с озверением-били какого-то штатского парня в черном замызганном пиджачишке. Один из них, размахивая руками, кричал:

— Последний пятак из кармана украл, вошь тыловая! Вот я тебя звездану!..

Подъехав, я вмешался и урезонил солдата. Тот, кажется, внял уговорам и промямлил:

— А может, и не он взял…

Но было уже поздно. Толпа нарастала, как снежный ком. Бежали бабы, голося во всю глотку, мальчишки, мастеровые, солдаты. Я, чувствуя, чем это кончится, крикнул парню:

— Прыгай ко мне на коня!..

Но вокруг несчастного уже образовался плотный круг кричащих людей. Меня чуть не сбили с коня, и, дав шпоры, я вырвался из давки. Парень, как тряпка на ветру, безвольно и беспомощно болтался во все стороны. Кто-то, захлебываясь дикой злобой, вопил:

— Бей его, сволочь!

И вот сзади подскочила, расталкивая окружающих, здоровая баба и с размаху ударила парня булыжником по голове. Он рухнул на мостовую. Подбегали еще какие-то люди и, глухо урча, били распластанное тело. Через пару минут все было кончено, и толпа расползлась, как дым… Страшен, неукротим необузданный гнев массы. Помню, я погнал жеребца к месту, где произошел самосуд, но от человека не осталось ничего…

А Саратов начинал входить в свою обычную колею. Примелькались многочисленные митинги, что творится в далеком Петрограде — мы не знали, а на фронт, как и раньше, уходили маршевые роты, как и раньше, формировались батареи и дивизионы. И вот наступило время, когда и я должен был отправиться на фронт.

В Саратове формировался 3-й Особый отдельный артиллерийский дивизион, предназначавшийся к отправке во Францию. Но революция смешала все карты, изменила планы, и дивизион попал в 12-ю армию Северного фронта, самого лютого из всех фронтов первой мировой войны.

Проводить меня приехала мать с сестрой Анфисой, которая прихватила с собой свою подругу — огненно-рыжую и сильную, как Иван Поддубный, курсистку, дочь клетского священника Виссариона, который впоследствии спас мне жизнь. Об этом скажу позже. Город за годы войны привык к таким зрелищам и совершенно равнодушно провожал нашу часть к вокзалу. Только сухонькая, похожая на черкешенку моя мама тихо плакала, да сестра смотрела восторженно на меня полными слез близорукими глазами…

Бежал по взвихренной России поезд все дальше и дальше — на запад. От скуки солдаты, а иногда и офицеры стреляли на станциях из наганов в фонари. И вот через несколько веселых дней наш состав подошел к большой, узловой станции Режица, где уже начиналась прифронтовая полоса. Оттуда дивизион, гремя звонкими трехдюймовками, пошел походным порядком к Двинску, на позиции, расположенные вдоль Западной Двины — по ее правому берегу. Издали время от времени доносился глухой рокот нашей и немецкой артиллерии. Попадались отдельные санитарные повозки с ранеными, а на душе было и радостно, и тревожно. Молодость! — неповторимое, золотое время, которое начинаешь ценить, когда оно невозвратно уйдет, оставив лишь легкую дымку сладких воспоминаний.

На участке, который занимал наш дивизион, стояла постоянная, внештатная шестиорудийная батарея, снабженная японскими пушками. Части на участке менялись, но батарея оставалась стоять, и ее только передавали очередной воинской части. Командиром этой батареи меня сразу же и назначили. На батарее был постоянный штат прислуги в составе 150 человек. Я стал их неограниченным начальником и заботился о солдатах так, что после Октябрьского переворота эти ребята настояли, чтобы я остался командиром батареи.

Хочется вспомнить и моих верных соратников — офицеров батареи, с которыми я бывал под обстрелом, делил тяготы

фронта. Командиром дивизиона у нас был сухопарый старик полковник Никитин, любитель выпить. Моей батареей командовал георгиевский кавалер Попов, вечно страдающий какой-то прилипчивой болезнью, которую он неизменно лечил той же водкой. Был он большой добряк, рубаха-парень. Все мы его любили. Старший офицер, хитрейший хохол, штабс-капитан Литвиненко был отменным офицером, помню, он часто болел глазами. А моими близкими товарищами стали блестящий математик, впоследствии незаменимый заведующий хозяйством Фофанов и молоденький чернявый прапорщик Усачевский, сын какого-то генерала, который регулярно угощал нас изумительным китайским чаем. Был и еще один офицер, прикомандированный ко мне на батарею, маленький, совершенно бесцветный Володя Фиников. Вот и все. Остальные безвозвратно ушли из моей памяти.

При распределении обязанностей среди младших офицеров меня почему-то назначили заведующим офицерской столовой, что впоследствии давало возможность помогать солдатам моей нештатной батареи. Среди солдат дивизиона я нашел одного пожилого плоскогрудого солдата, который был поваром института благородных девиц в Новочеркасске. Этот человек имел удивительную способность изготовлять изумительно вкусные вещи буквально из ничего. Офицеры были довольны, а я от него научился так же великолепно готовить все, что угодно, из непритязательных продуктов.

Война, несмотря на революцию, затягивалась, ей не было видно ни конца ни края. Никакой политической деятельности, по крайней мере у нас в дивизионе, не было. Ежедневно стреляли, ели, спали и ждали конца войны. Помню первый серьезный бой. Состязались наши и немецкие батареи. В это время я был уже на своей основной, второй батарее. Когда с визгом вблизи начали ложиться шестидюймовые немецкие снаряды, вероятно с Каляндровской батареи, я получил приказ перестроить параллельный веер. Земля дрожала от страшных взрывов, которые ломали деревья и с корнями вырывали огромные сосны. Прислуга замерла у орудий, ожидая команды. А я стоял похолодевший, у меня дрожал подбородок, и я не мог подать команду. Тогда, видя мое беспомощное состояние, старый фельдфебель спокойно распорядился:

— Чередниченко! Чего рот раззявил — подвинь хобот чуть влево! — а потом следующему номеру орудия: — Ну, а ты не видишь, куда хобот двигать надо?

Положение было спасено, и я, построив веер, начал стрельбу.

В одном из таких вот боев меня накрыло тяжелой волной

воздуха от близко взорвавшегося шестидюймового снаряда. Я был контужен, но из строя не выбыл — только долго звенело в ушах и упорно болела голова. Вскоре нас сняли с позиции, и мы присоединились к общему потоку, совершенно не зная, куда и зачем нас ведут. Шли проливные дожди, а я остался только в кожаной куртке — без шинели, без плаща. В сапогах хлюпала вода. Лошади шатались от усталости, а мы все шли и шли, ночуя в поле под стогами или прямо у орудий. В конце концов я схватил жестокий ревматизм.

Из Петрограда и Кронштадта все чаще к нам стали приезжать агитаторы. Они организовывали солдатские комитеты, офицеры совершенно теряли авторитет, но армия все же держала фронт. Затем как-то на ходу провели выборы в Учредительное собрание, надвигался хаос, и никто не знал, что будет завтра. Говорили, что Корнилов арестован и посажен в Быхов со своими текинцами. Всюду главенствовал «душка» Керенский, которого солдаты не любили и даже ненавидели: «Шут гороховый! С бабами на фронт ездит, сука! Вот его бы в окопы посадить…»

Неуклонно приближался Октябрь. Но на фронт сообщение о новой революции пришло совершенно незаметно. Батареи наши осели в каком-то фольварке недалеко от Вендена, и вот там из приказов по армии мы и узнали о событиях. Ну, а когда пришел приказ об упразднении чинов и званий, когда солдаты стали сами выбирать своих начальников, — тут все стало ясно. В это время наша батарея разместилась во дворе Бургши. Офицеры заняли огромную, как неуютный сарай, комнату латышского дома. На меня производила тяжелое впечатление неприязнь латышей к русским. Большинство из них были суровыми солдатами революции, и их заградительные отряды на железнодорожных станциях, как я впоследствии убедился, были беспощадны. Вокруг шныряли агитаторы, которые требовали немедленного прекращения империалистической войны, говорили, что преступно стрелять по немецкому пролетариату. А вскоре начались выборы. Я стал командиром батареи, прапорщика Фофанова, как офицера очень способного и тихого, оставили заведовать хозяйством. Капитан Попов, георгиевский кавалер, пошел чистить лошадей, а изворотливый Литвиненко в одну из ночей бесследно исчез из батареи. Остальные офицеры тоже куда-то разбрелись. Таким образом, я стал после Октября первым выборным комбатом. Но что-то не радовало меня это. Пехота, побив всех своих офицеров, частенько требовала по полевому телефону, чтобы в батарее сняли золотопогонника, то есть меня, и выбрали бы комбатом солдата. Наши ворчали, мол, это не их дело. Пехота обещала прийти и взять меня на штыки, наши

говорили, что встретят их картечью. Таким образом шла эта нисколько не радовавшая меня перебранка, и перед Рождеством 1917 года я предложил комитету назначить выборы, мотивируя это тем, что не нужно раздражать пехоту, что я и так буду помогать новому командиру батареи. Словом, после коротких дебатов командиром выбрали моего вестового Павленко, поразительно похожего на Никиту Хрущева.

Постреливали. Кое-где расправлялись с офицерами, которые чувствовали себя буквально вне закона. Из Ставки пришло сообщение, что исполняющего обязанности главнокомандующего генерала Духонина солдаты приняли на штыки и что назначен новый главнокомандующий прапорщик Крыленко. Появилась крылатая фраза, от которой мороз шел по коже: «Что ты? Захотел в штаб Духонина?» Это тогда означало верную смерть. Вообще наступили полный хаос и неразбериха. Появилась масса дезертиров. Говорили, что 80-я пехотная дивизия, стоящая неподалеку от нас, снялась самовольно с позиций и открыла фронт. Спешными перегруппировками затыкали ту дыру, но офицерство потянулось куда-то на юг, к Дону, где якобы собирал войска Корнилов или Алексеев. Однако фронт еще держался.

А вскоре пополз слух, что Учредительное собрание разогнано и что будут делить землю, не дожидаясь каких-то решений. И вот еще самое главное: землю получит только тот, кто будет лично присутствовать в деревне при дележе. Фронт как ветром сдуло!.. В течение нескольких дней сермяжная Русь покатилась по непролазным и забитым эшелонами дорогам домой, к своим хатам — делить землю. Не знаю, кто бросил этот лозунг о земле — гениальный и простой. И всюду слышался бешеный крик нетерпеливых солдат:

— Гаврила! Крути!..

Этим грозно-веселым криком хозяева земли заставляли падающих от усталости машинистов поскорее уводить поезда со станций и гнать переполненные составы в глубь клокочущей России. Крыши вагонов, буфера и площадки были усыпаны телами солдат, жадно рвущихся к желанной земле. Многие по дороге засыпали и срывались с крыш, падали и гибли. Такова была извечная тяга русского крестьянина к матушке-земле. Я же долгими зимними вечерами, оставшись один, лежал на походной постели и смотрел в потолок. Жить стало страшно и трудно. Я вертел в руках вороненый, густо смазанный маслом наган, чуть нажимая и отпуская курок. Жизнь казалась конченой, все происходящее кругом непонятным, но вот рука безвольно падала на грудь и наган с грохотом летел на пол. Всегда от последнего шага меня отделяла только одна ниточка-мысль, но ниточка

крепкая, как сталь: «Постой! А как же дед Осип? Что скажет он, всю свою жизнь и надежды вложивший в тебя?..» И эта мысль всегда чудодейственно спасала меня.

Незаметно прошло Рождество. На пороге стоял страшный и кровавый 1918 год. Но тогда мы еще не знали об этом. Дни однообразно текли своею чередой. От фронта остались лишь жалкие лоскуты — заслоны от немецких войск, которые почти все свои силы сосредоточили на Западе, где решалась, вопреки логике и элементарной исторической справедливости, судьба первой мировой войны, где огромная Россия спасла Париж, совершив или, вернее, помогла совершить пресловутое «чудо на Марне». По существу, фитиль войны догорал и пребывание на фронте становилось просто бессмысленным. Кое-где постреливали по бывшим офицерам, сводя личные счеты. Ни погон, ни иных знаков отличия уже не было. Я часто ходил к солдатам и, сам ничего не понимая в происходящем, вел с ними беседы. Батарея сильно поредела. Под видом кратковременного отпуска солдаты, собрав жалкие пожитки, уезжали домой, чтобы уже никогда не возвратиться в медленно умирающую боевую семью.

Наступил снежный и лютый январь, и вот как-то тоскливым и неуютным вечером в жуткую метель ко мне зашел взволнованный комбат Павленко, мой бывший вестовой, и говорит:

— Николай Андреевич, я и солдаты беспокоимся, как бы вас не убили пехотинцы. Очень неспокойно. Мы вас ценим, и было бы лучше, если бы вы уехали домой. Офицеры, спасаясь от солдат, бегут на Дон, а вам и бежать не надо — вы ведь с Дона. — Подумав, он решительно добавил: — Один через эту кутерьму вы не проедете. Я дам вам в провожатые двух надежных солдат, и они довезут вас до самого дома…

Много раз потом я вспоминал предусмотрительного и очень умного хохла Павленко, который помог мне выбраться из этого хаоса и благополучно добраться домой, где уже началась иная, очень тяжелая пора моей молодости, время, когда Россия входила на кровавую Голгофу гражданской войны…

И вот в один из вечеров, кажется 10 или 11 января 1918 года, сопровождаемый двумя бравыми солдатами, я на командирских санках отправился на станцию Лоди — покинул фронт. Уезжая навсегда из своей батареи, я бросил все свои офицерские вещи — сундук, купленный в гвардейском экономическом обществе по окончании училища, походную кровать, шинель, двойные сапоги с фильцевой вложкой, седло и даже шашку. Мне тогда казалось, что война окончена навсегда, вот-вот успокоится *революционная* буря и я снова войду в аудиторию Военно-медицинской академии.

Через всю Россию я вез коллекцию — мешок, в котором звенели осколки немецких снарядов, пули и лежали две новенькие гранаты моей 306-й батареи. Несмотря ни на что, азарт коллекционера у меня доминировал надо всем. Сопровождавшие меня солдаты, ехавшие, как говорится, порожняком, перенося этот мешок на многочисленных пересадках, морщились и укоряюще говорили:

— И зачем вы эту пакость, Николай Андреевич, через всю мать-Расею тянете?

Я успокаивал их:

— Деду везу. Он у меня старый артиллерист. Под Шипкой был. Рад будет!..

Но дед… По возвращении домой как-то на балконе я разбирал боевую трубку шрапнели и нечаянно царапнул капсюль с гремучей ртутью — тот оглушительно взорвался. Тогда дед подошел ко мне и как-то сразу, по-казачьи, влепил мне затрещину, а мои шрапнели на веревке спустил в колодезь.

— Чего офицера трогаешь? — вспылил я. Но дед, бешено сверкнув глазами, крикнул:

— Я тебе дам офицера! Дом взорвешь, чертяка!..

А пока мы еще ехали с фронта. Ночь была морозная, мела метель. До станции Лоди мы добрались совсем замерзшие. Поезда ходили медленно. Билеты, конечно, не продавались. Тогда казалось, что вся Великая Русь села на колеса и куда-то мчится.

Подошел заметенный снегом, оледенелый поезд, до отказа набитый солдатами. Еле-еле втолкались мы на переднюю площадку, позже мои спутники каким-то образом устроили меня у бокового окна на скамейке. Вагон был забит. Многие везли пулеметы, винтовки и даже откуда-то взявшиеся тесаки: все, мол, дома в деревне может пригодиться. Особенно страшно было проезжать через узловые станции. На каждой из них стояли заградительные отряды в основном из неумолимых латышей и нечеловечески страшных китайцев. Обычно, когда останавливался поезд, в вагон, гремя прикладами, вваливался отряд, и, зорко оглядывая пассажиров, латыши или китайцы спрашивали:

— Есть офицеры? Выводи!

Нередко тыча в меня пальцем, допытывались:

— А этот? Не офицер?..

Но мои провожатые, матюкаясь, выпроваживали их:

— Не видишь? Наш! Больной… Иди, иди, а то почешем зубы! Патруль уходил, так как вагон был не только переполнен солдатами, но и вооружен до зубов. Не помню точно маршрута, по которому солдаты везли меня домой. Состав шел в неизвестном направлении, куда-то в глубь России. Ехали через

Псков, Петроград, Москву, проскочили узловую станцию Грязи. Тут я был уже почти дома, так как при моих многократных поездках в Питер я всегда проезжал через эту станцию. Где-то перед границей Донской области меня покинул один провожатый — махнул куда-то в сторону, домой. А второй довез меня до станции Поворино и тоже, распрощавшись со мной, отстал. До моего дома было рукой подать. Фронтов гражданской войны в это время на севере области еще не было, и проезд на Дон был простым.

Но вот поезд остановился на станции Серебряково. Я знал, что там стоял какой-то запасной казачий полк, из которого шли пополнения в донские части на фронт. В этом полку временно служил мой лучший дружок Коля Тимофеев, сын бедного дьякона, у которого была куча детей. Коля учился со мной в Питере и был на юридическом факультете. Остроумный, изумительный весельчак, он всегда, всюду был центром внимания и желанным гостем. При подходе поезда к станции по вагону пошел жуткий слушок, что вчера в Серебряково подкатил паровоз с несколькими вагонами из близкого Царицына, набитый матросами и рабочими, которые покололи штыками и вырезали 70 казачьих офицеров — весь офицерский состав полка. Жуткий холодок пополз по спине, между лопатками, и сковал ноги. Так меня встречал батюшка-Дон.

Через одну-две станции я, как в тумане, вступил на платформу небольшой, заброшенной в неоглядной снежной степи станции Лог. До дома оставалось 60 верст. Взяв мешок с осколками немецких снарядов и двумя японскими шрапнелями — все, что я привез с фронта, я побрел на станцию и присел в уголке, угнетенный сообщением о страшной расправе над офицерами в близком Серебряково. Не помню, как долго я просидел в оцепенении, но вдруг меня привел в себя радостный оклик:

— Миколай Андреич, болезный! Да откуда ты, голуба моя? Передо мной стоял пожилой казак в тулупе и валенках. Вскинув глаза, я узнал старого дружка моего деда Осипа, казака из хутора Логовского, у которого мы часто останавливались при поездках в Питер или Москву. Ему обычно оставляли нашу лошадь, где она и ждала, когда мы вернемся.

— Это что же, — говорю, — в Серебряково?

— Да-а-а… Натворили делов, нехристи. Пойдемте-ка лучше к нам. Далеко ли до греха. Я отвезу вас домой к Иосифу Федоровичу…

Базами и кривыми закоулками мы добрались до его куреня, где дебелая баба, его жена, охая и причитая, раздела меня, дала с

дороги умыться и накормила донскими пышками с давно невиданным мною душистым каймаком. Это казачье лакомство из топленого молока. Потом, уже в турецком Константинополе, я узнал, что слово «каймак» по-турецки означает вкусный. Поговорив со мною о моей сложной дороге, о фронте, старик взял голицы и пошел запрягать лошадей. Путь предстоял довольно далекий, а мороз-то был крещенский. Так что хозяйка приготовила мне на дорогу тулуп и валенки. Валенки я по молодой глупости не взял и жалел потом.

По заснеженным кучугурам мела поземка. Кони шли спорой рысью, только иногда переходя на шаг, когда дорога поднималась на изволок. По дороге продрогший дед, дыша густым паром, соскакивал с саней, бил себя голицами по бокам и покрикивал:

— Н-но-о-о, милые!.. Хорошо было бы теперь, Миколай Андреич, стаканчик николаевской опрокинуть.

— Я, дедушка, не пью, — отвечал я веселому старику.

— Не по-казачьи, любушка. Не по-казачьи. Наши ету зелью дюже потреблять любять…

Промелькнуло несколько хуторов, кажется, станица Сиротинская или Кременская, где монахи местного монастыря, чтобы не вводить верующих во искушение, пили водку из ведерного самовара чайными стаканами. Вот мы уже на хуторе Меловском — переехать Нелькин буерак — и мы на Шпиле, под которым раскинулась донская красавица — моя родная станица Клетская. От хутора Меловского — версты 3–4 до станицы. Провожаемые ватагой хуторских собак, мы выехали из хутора. Я снял тулуп, чтобы в станицу въехать, как полагается служивому, и жадно ждал, когда покажутся первые курени станицы. Тут все знакомо — до мельчайшей былиночки: и эти курганчики, натасканные вездесущими степными сусликами, и этот Келькин буерак с его тернами, куда мы с сестрами ходили встречать деда или отца, когда они возвращались из России, как у нас называли на Дону все, что было за границами области. Вон и полуразбитая беседка на самой вершине мелового Шпиля, который клином врезается в станицу. Тут в летние лунные ночи часто собиралась молодежь и пела песни. Отсюда частенько какой-нибудь приехавший в станицу на каникулы студент пробовал свой молодой баритон, и ему, врезаясь в тишину ночи, подпевали свежие девичьи голоса. Молодежь любила Шпиль. Это был один из отрогов мелового Донецкого кряжа.

Спускаясь с крутой горы, въезжаем в станицу. Тишина. Сизый дым в морозном воздухе столбами висит над ладными казачьими куренями и сладко пахнет домом — кизяком. Большинство казаков топили хаты кизяками — это коровий и лошадиный

помет, перемешанный с соломой. Веселые казачки на базах замешивали его босыми ногами, высоко подоткнув юбки и балагуря, потом из этой благовонной массы резали четырехгранные плиты, которые после просушки на ярком донском солнце складывали в пирамидки на казачьих дворах. Дым, особый кизячный дым, был нестерпимо дорог сердцу каждого казака. При въезде в родную станицу я жадно вдыхал его полной грудью. Сердце замирало от радости. Я — дома!..

По обычаю станицу проезжаем вихрем, и лошади, фыркая и отряхая с себя осевшую на них изморозь, останавливаются перед воротами как вкопанные. Вижу кто-то с любопытством смотрит в окно столовой, я соскакиваю с саней и в нетерпении рву калитку. Через небольшой палисадник, где у матери всегда масса цветов, подбегаю к заднему крыльцу, с которого не спеша идет мне навстречу скупо улыбающийся дед. За ним толпою, крича и радостно смеясь, бегут бабушка, мать, сестры. Дед прикасается сухими, сомкнутыми губами, по-казачьи, к моей щеке, и я попадаю в объятия то плачущей от радости бабушки, то матери, то сестер. Дед уходит помочь своему дружку завести во двор и распрячь лошадей, а мы суматошной толпой направляемся в комнаты.

Приехали мы как раз к обеду. За обеденным столом, смотря на белую скатерть, тарелки, на приветливые, улыбающиеся лица родных, видя весь этот привычный и милый уют, я вспомнил фронт, страшную дорогу, что осталась за мною, и вдруг судорожно разрыдался. Наши переполошились. А дед, поглаживая свои седые усы, пытливо посмотрел на меня и тихо сказал:

— Много видел? Ничего — времена такие. Ничего, отдохнешь — успокоишься, — и добавил: — Дома-то стены помогают.

Но, оказалось, дед ошибался. Времена были такие, что и домашние стены перестали помогать. Скоро пришлось в этом всем нам убедиться. Шла коренная ломка быта, векового уклада, прочно сложившейся жизни, гибли не только семьи, но вихрь все нарастающей революции с корнем вырывал целые роды и племена.

После обеда за обычным чаем, который дед пил очень крепкий и всегда без сахара, пошла беседа о жизни в станице, новостях, родне. Я кое-что буркнул о тяжелой дороге. Дед, вытирая вспотевший лоб платком, — он пил уже пятый стакан, — исподлобья посмотрев на меня, спросил:

— Ну что? Как фронт?

— Фронта уже нет, дедушка… Боюсь, что скоро немцы хлынут и на Украину.

— Да ты что, шутишь? А как же правительство? Что же это? К чему же четыре года вшей в окопах кормили? Ведь немцы-то должны бы уж на ладан дышать. А? — Потом, помолчав, добавил: — Ведь там у них, говорят, башковитые люди сидят. Какие-то Ленин, Троцкий… Один-то из них будто из Швейцарии приехал. Ну, а туда глупые люди не ехали…

Я ничего не мог ответить деду на его пытливые вопросы — вопросы, которые тогда интересовали всю, хоть сколько-нибудь мыслящую, Россию. Я сам был политически совершенно безграмотен и знал только Керенского, Пуришкевича, Чхеидзе да разве Родзянко, не разбираясь даже, к какой партии он принадлежит. Дед помолчал, склонил голову и, трогая сивый ус, заметил:

— Эх, надо бы было добить немца вчистую. Не даст он нам покоя. А теперь вот жди. Не будет от этого добра…

Из разговоров я узнал, что в нашем Усть-Медведицком и соседнем Хоперском округах установлена Советская власть, что в Клетской комиссаром какой-то хорунжий. В нашей станице уже тоже был Совет, но, говоря о нем, дед хмуро ворчал:

— Удивляюсь, на такое дело самых ледащих казачишек посадили. Возьми Черячукиных — двум свиньям корму не разделят. Всю жизнь лодырями прожили. Недоставало посадить туда Максима Пристанскова — вот бы делов натворил!

Пристансков был атаманец, с коломенскую версту ростом, несусветно дурной, как, впрочем, почти все атаманцы. В Усть-Медведице вместо окружного атамана полковника Рудакова в окружном правлении заседал Совет. Председателем Совета был крестник моей бабки, сотник Семен Рожков. В Клетской же, наряду с братьями Черячукиными, верховодил тоже крестник моей бабки балтийский матрос, мордастый великан, сын кровельщика Алешка Сазонов. В станице было спокойно. С новой властью сжились, и ничто, казалось, не предвещало близкой катастрофы. По округу, правда, шли глухие и совершенно неопределенные слухи, что где-то на юге появился Корнилов и будто бы около него группируется офицерская и студенческая молодежь, спасающаяся от самосудов, которые якобы идут по всей России. Случайно пришла весть о разгоне войсковым старшиной Голубовым Казачьего Круга — Донского парламента, но эта весть как-то не произвела впечатления ни в станице, ни в округе и не всколыхнула казаков. Все были рады, что война окончилась и жизнь входит в нормальные берега. В станицу пришел с фронта 34-й Донской казачий полк под командой полковника Воинова. Врач полка Николай Аристархович Алфеев, окончивший два факультета, стал постоянным гостем в нашем

доме и впоследствии женился на моей старшей сестре, чопорной бестужевке Анфисе. Директором местной гимназии назначили непрезентабельного и никудышнего учителишку начальной школы Капитошку, как его все в станице называли, Крапивина. Молодежь часто собиралась в школе, разучивала «Интернационал» и ставила любительские спектакли.

Как-то весною я отправился в окружную станицу регистрироваться и явился к председателю окружного исполкома Семену Рожкову для того, чтобы не возникли никакие недоразумения. Бывшие офицеры были на учете. Не найдя его в правлении, я пошел к нему в Клины, гористую часть станицы, где он жил в своем хорошем доме со старухой матерью. В Клинах стояла чудесная Нагорная церковь, выстроенная в древнерусском стиле. Говорили, что там особенно хороши и торжественны были пасхальные богослужения. Теперь этот храм не существует. Подойдя к дому Рожкова, я увидел на высоком крыльце его сухопарую мать. Узнав меня, она приветливо спросила:

— Ты чаво, Коля, к Семе? Он сейчас спит — ночью куда-то ездил…

— Я, теточка, регистрироваться пришел. Из-за этого из Клетской приехал.

— Да это ничаво, — ласково ответила старуха. — Иди домой, я ему скажу. Можешь считать себя разжалованным, — а потом добавила: — Завтря приди к нему в правлению — он там атаманствуеть.

На второй день, войдя в большой зал Совета, я попал будто во встревоженный улей. Сизый от махорки воздух был сперт — хоть шашкой руби. Казаки входили и выходили, матерясь и размахивая руками. Кто-то в углу примостился на подоконнике и резался в карты. На столе у Семена стопка каких-то бумаг, по правую руку наган, слева две ручные гранаты. Ну, думаю, обстановка серьезная. И Семена было не узнать. Это был уже не прежний щупленький реалист, а человек, чувствующий себя на своем месте, отягченный властью и знающий себе цену. Лицо суровое, неумолимое.

Сажусь в сторонке. Перед Рожковым на подоконнике, вольготно перебросив ногу через колено, пристроился, какой-то нагловато улыбающийся человек лет тридцати. Я, вероятно, прервал очень бурное объяснение. Семен, сжав кулак, твердо бросает сидящему на подоконнике:

— Ну, смотри, сотник, смотри, чтобы не сыграть в ящик! Собственной рукой застрелю, как собаку, если будешь мутить казаков по хуторам!

Сотник криво усмехается, встает и, хрустнув пальцами,

бесшабашно бросает:

— А ты не всякому слуху верь. Испугал… Не таких видали! — и, хлопнув дверью, выходит.

Переговорив о своих делах с Рожковым, я собрался уходить. Прощаясь, Семен спросил:

— Ты тут как? На коне?

— Нет, с оказией приехал.

— Так вот смотри — завтра еду по хуторам, по округу. Шевелиться кое-где, гады, начинают. Видел, вот сейчас ушел. Но мы им голову свернем… Еду через Клетскую. Возьму тебя с собой. Место есть: по-атамански еду — тройкой!

По Дону шел апрель, наполненный неповторимым запахом проснувшейся степи. На душе, как всегда весной, было сладостно, легко…

На второй день Семен подвез меня до дому. В доме поднялась обычная суматоха, как всегда, когда приезжали гости. Бабка и мать засуетились, накрывая на стол, послали за вторым крестником бабки — балтийским матросом Сазоновым, и вот на столе зашумел ведерный, пузатый самовар, появились закуски, и пошла оживленная беседа. Дед, настороженный и очень серьезный, как всегда, когда видел начальство, присел к столу и, осторожно щупая почву, начал, обращаясь к Рожкову:

— Поздравляю, Семен Яковлевич. Высокое, так сказать, атаманское место занимаешь, в советские генералы вышел… Смотри, не обижай казаков. — Потом погладил свои пышные запорожские усы и спросил: — Ну, а как же теперь вот все будет?

Рожков, прищурясь и дожевывая капусту, метнул взгляд на деда Осипа и раздельно процедил:

— Вот усядемся покрепче, Иосиф Федорович, и… за вас примемся.

— Это как же понимать? — опешил дед, вставая.

— А вы сядьте… Так и понимать, как сказал — раскулачим… Довольно растягиваться-то… Все поставим на свои места…

— Да, да, крестный! — добавил, смеясь, Алешка Сазонов. — Приготовьтесь!

— Но послушайте — я же всю жизнь работал, как вол. С подпасков начал, своим горбом все нажил, — сокрушенно и заметно волнуясь, заговорил дед.

— Да там потом разберем, — успокоил Рожков, поднимаясь из-за стола. — Ну, мы едем! Дела много! — Потом, обращаясь ко мне, добавил: — Послушай, Николай! А из тебя мы сделаем комиссара.

Я растерялся, заговорил, что совершенно не разбираюсь в политике и даже не знаю программ партии, какой, мол, из меня

комиссар.

— Будешь комиссаром по благоустройству станиц и хуторов. Тройка рванулась с места, и с тех пор Семена Рожкова я уже никогда не видел, и мое предполагаемое комиссарство повисло в воздухе. Бог знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, вполне возможно, что я не писал бы вот эти пестрые заметки, не вмешайся в события горячий реалист Володька Подольский. В неясных случаях французы говорят: «Ищите женщину». Так было и тогда.

Семен Рожков спутался с какой-то гимназисткой, за которой ухаживал Подольский. Володька явился к Рожкову и выстрелил ему прямо в лицо. Пуля прошла под глазом куда-то вглубь, по-видимому, не задев мозга, и его, полуживого, в бессознательном состоянии, отвезли в московскую клинику, а горячего Володьку посадили в местную тюрьму, где его вскоре, как рассказывали, растерзали буквально на куски…

Дед под впечатлением разговора с Рожковым, я заметил, стал задумчивым, часто уходил за сарай и смотрел на землю. Он был выбит из привычной колеи и, вероятно, не отдавал себе отчета в происходящем. Как-то, идя по заднему двору, он упал — потерял сознание. Это коротенькое происшествие тяжело подействовало на меня. Я боялся потерять человека, который мне заменял все и был моим высшим авторитетом. Я тревожно следил за ним. Он как-то начал тосковать, и часто я его видел под хмельком — хотел забыться.

К маю поползли по станице неясные и тревожные слухи. Ко мне время от времени заходили казаки — проведать, поговорить. Однажды зашли братья Ушаковы: рослый Егор и коренастый, плотно сбитый Анатолий. Ребята осторожно ощупывали меня со всех сторон, туманно намекали, что в округе неспокойно и пора бы уж сбивать мужиков, чтоб не путались в казачьи дела. Но, по правде сказать, мне хотелось только учиться, не хотелось ввязываться ни в какую авантюру. К тому же давала себя чувствовать недавняя контузия — то и дело болела голова, а по телу, все прибывая, шли, не давая покоя, фурункулы. Лечил и вскрывал их доктор Алфеев, сильно увлекшийся моей старшей сестрой.

Но я в своих расчетах ошибся. Повышенный интерес ко мне казаки проявляли потому, как выяснилось позже, что я был артиллерийским офицером. В Усть-Медведицком округе оказалось только три артиллериста: войсковой старшина Тарасов, наш казак; откуда-то попавший на Дон прапорщик Мохов да я. А что-то готовилось, что-то нависало в воздухе.

И вот совершенно неожиданно пришло то, чего я так боялся.

Как-то утром ко мне зашел Егор Ушаков. Поздоровавшись, присел на край кровати, откашлялся и сказал:

— Ну, брат Николай, лежать нечего. Ты нам скоро будешь нужен. Скоро будем сбивать эту сволочь. Довольно, повластвовали… Это не для казаков! Скоро Усть-Медведицкому Совету вязы открутят, а мы отсюда должны помочь. У нас налажена связь с хуторами. Собираем отряды. Уж человек пятьдесят слово дали. Тут, в станице-то, власть жиденькая — один комиссаришка да пара казачишек из гольтяпы. Главное, центр — Усть-Медведицу — взять в руки. Но там у нас есаул Гордеев надежный. А Филипп Миронов перекинулся к красным — Дон предал, собака. В Усть-Хоперской у нас много пушек-трехдюймовок. Понимаешь, артиллеристы нам нужны, офицеры. А вас с гулькин нос — Тарасов, Мохов да вот ты… Пойдешь?

— Да ты погляди, Егор, в каком я состоянии. На коня не влезу, — начал было я, но Егор перебил:

— Да пока и не надо. А когда пойдем, то на арбе повезем. Подстелим сенца — оно и пойдет…

Вошел дед.

— Вы тут о чем, молодцы? — улыбаясь и ничего не подозревая, спросил он. Егор объяснил, подчеркнув, что вот, мол, артиллерийские офицеры нужны будут до зарезу.

— Так что же? — решительно сказал дед. — Разве можно от казаков отставать? Не пойдет он — пойду я! Говоришь, казаки на майдане шумят? Пойду!

И тут решилась моя судьба: мнение деда было для меня законом. Я по-прежнему никуда не ходил, ни в чем не принимал участия, но вот через несколько дней после разговора с Егором у нашего дома остановилась подвода и послышался чей-то молодой, звонкий голос:

По дорожке пыль клубится,
Слышны выстрелы порой…

Эге, думаю, началось… И, действительно, по крыльцу застучали торопливые шаги, и кто-то вбежавший в комнату весело и задорно крикнул:

— Скорей собирайся, Николай Андреевич! Выступаем. Идем на Усть-Медведицу. Сбили Совет. Ведем с собою комиссара. Скорее, подвода ждет.

Решения в то горячее время — страшного 18-го года — принимались быстро и меняли судьбы людей на всю жизнь. Засуетились бабушка, мать, сестры. Пришли попрощаться дед, отец, они принесли мне на дорогу несколько коробок папирос

«Кузьма Крючков». И вот все присели, помолились на образа в нашем маленьком зале, обнялись, и я, перекинув через плечо новенький винчестер и поправив на ременном поясе тяжелый кольт, сбежал с крыльца. В карманах казачьих шаровар с лампасами было полно патронов, на шее фронтовой бинокль «Цейс», а на голове артиллерийская фуражка мирного образца с бархатным околышем. Дед собственноручно сшил ее своему внуку. Она, эта артиллерийская фуражка, вскоре спасла мне жизнь. Об этом расскажу позже.

Отряд состоял человек из сорока-пятидесяти молодых парней станицы, одетых во что Бог послал. У некоторых были отцовские или дедовские шашки, кое у кого винтовки, револьверы, а чаще охотничья берданка или обыкновенный дробовик. Все без погон. У каждого, как и у меня, узелок с харчами. Вообще организация получалась совершенно кустарная, не рассчитанная на долгое существование. Но, весело балагуря, мы построились, кто-то скомандовал: «Станвии-ись!» — и отряд по Красной, главной улице станицы, двинулся к кузням на Усть-Медведицкую. Запылила дорога, покрытая по щиколотку легкой, как пух, меловой пылью. Грянула дружная наша станичная песня:

Поехал далеко казак на чужбину.
На добром коне он своем вороном.
Свою он навеки покинул краину,
Ему не вернуться в отеческий дом…

Погода была, как всегда на Дону в это время, чудесная, но на душе было тревожно: начиналось что-то непривычное… Но молодость брала свое, и мы шли громить «Ваньков», как в области называли иногородних, которые на исконных, донских землях начали командовать казаками. Прошли присевшие под меловой горой мазанки хутора Поднижнего. Вправо застыла на высоком бугре над Доном, где он выгибал вокруг крутого берега серебряное стремя, станица, собственно хутор Старо-Клетский. Тут когда-то в глубокую старину стояли казачьи укрепления — «клетки»; отсюда и пошло название старой и нашей станицы. Вошли в пеструю от лазоревых цветов — так на Дону называют дикие тюльпаны — степь. Справа на пологом бугре замаячили вишневые сады. Спустились с горки и подняли пыль на кривых улицах станицы Распопинской. Наконец, через займище, поросшее ивняком и седыми вербами, подошли к хутору Бобровскому, где за горой в семи верстах раскинулась окружная станица.

Наступал вечер. После более чем тридцативерстного

перехода в жару отряд устал. Рядом с перемешанными рядами отряда, чуть левее дороги, два ледащих казачишки, дневальных из станичного правления, вели спотыкающегося комиссара. Вероятно, его хотели передать в центр. Я на правах больного ехал на повозке и время от времени соскакивал на дорогу и шел разговаривать с комиссаром, который совсем недавно еще запросто ходил к нам в дом, обедал и пил чай. Мирный, ничем не отличающийся от окружающих меня парень, донской хорунжий. Странным, полным неожиданностей и парадоксов был тот год. Начиналось и мое восхождение на Голгофу, но тогда я этого не знал.

Пока что, нахлестывая огромного вороного жеребца, нас нагоняет кто-то на легеньких дрожках без поклажи. Останавливается, расспрашивает. Из разговора выясняется, что это житель Усть-Медведицы, возвращающийся домой в станицу. По его словам, еще утром в станице были казачьи части и штаб обороны. Тогда у меня мелькает мысль загодя подготовить ночлег для отряда в классах мужской гимназии, которая помещалась в нашем доме. Занятий уже не было, и я решил, что мы со сторожихой освободим классы от парт, настелим на пол хотя бы сено, и отряд переспит в подходящем помещении. Буду квартирьером. Решено — сделано. Владелец дрожек охотно сажает меня с собой рядом, и жеребец легко выносит нас на гору.

За короткое время мы у Пирамид. Тишина и запахи родимой степи успокаивают. Все так с детства привычно, знакомо, и ничто не внушает никаких опасений. Но только мы подъехали к Пирамидам — до станицы рукой подать, как впереди замаячила конница, послышался звяк удил и на нас надвинулась громада всадников. В наступившей уже темноте я различил каких-то людей в штатском, сбитых в беспорядочную кучу. Кое у кого были связаны руки. Из расспросов узнал, что это часть есаула Андреева, известного мне храброго, всегда подтянутого и решительного офицера, что части оставляют станицу и гонят с собою подозреваемых в большевизме арестантов из местной тюрьмы, что станица сейчас пуста и что за Доном стоят полки красных казаков войскового старшины Филиппа Миронова и разрозненные части Михайловских хохлов. Есаул Андреев предложил присоединиться к ним. Но я объяснил, что за мной идет не только Клетский отряд — со всех окружных хуторов и станиц тянутся в Усть-Медведицу отряды, частью конные. Андреев выслушал меня, повторил свое предложение и, толкнув нетерпеливо переступающего ногами рослого дончака, присоединился к проходившим по дороге конникам.

Я остался один. Вскинув на плечо карабин, зашагал вниз по

Воскресенской и вскоре подошел к гимназии. Знакомый дом нашего соседа-добряка фотографа Петровского, наш флигель во дворе. Сторожиха проводила меня в мою комнату, где со времени моего семилетнего пребывания в ней осталось все по-прежнему. Стоял все тот же стол с той же лампой под белым абажуром, та же кровать, вольтеровское кресло под чехлом, где я проводил за чтением долгие, зимние вечера. Все было на своих местах, исчез только большой портрет написанного мной Наполеона, который висел когда-то над столом, да бесчисленное множество открыток, развешанных по стенам, из жизни того же Наполеона и еще серия репродукций Верещагина о былой войне.

Старушка поставила самовар, сварила традиционные яйца всмятку, принесла кислого молока, и, поужинав, я завалился спать.

Ранним утром меня разбудили дальние орудийные выстрелы. Я выбежал на высокий балкон и услышал трезвон, несшийся от Воскресенской церкви. Я знал звоны всех церквей станицы — их было несколько. Звонили определенно в Воскресенской. Наскоро ополоснув себя водой, я взял карабин, бинокль, подцепил на пояс кольт и выбежал на улицу.

Но что за черт? Отряда моего нет. А откуда-то взялась артиллерия и почему-то трезвонят в церкви — ведь день будний. Спускаюсь вниз по улице. И вот, по мере приближения к концу Воскресенской, вижу глухо галдящую у церкви огромную толпу стариков, баб, мальчишек. А над толпою, в выходе из ворот церковной ограды, колышатся и блестят на ярком солнце, отливая бордовым пурпуром, хоругви. Духовенство, все в облачении, ведет крестный ход к недалекому отсюда Крещенскому спуску. Смешиваюсь с толпой. Вокруг стоящие старики-казаки недружелюбно и косо смотрят на меня. Один бородатый, сплевывая вязкую слюну и придавливая докуренную цигарку носком сапога, цедит сквозь зубы:

— Вот, туды их растуды, из-за таких-то вот и весь сыр-бор горит… Дали бы покой, и жили бы мы, как у Христа за пазухой.

Я удивленно смотрю на него, потом в бинокль на косу — на ту сторону реки. И вдруг вижу, как к лодке подошли три человека — два в штатском, а один в длиннополой шинели. Толпа замерла, вряд ли различая, что происходит на том берегу. Я же в артиллерийский, призматический «Цейс» видел все, как на ладони. Уйти бы мне тогда, чудаку, буераками к Пирамидам, но я, как вкопанный, стоял, опершись на винчестер, на самом виду и ждал, когда красные парламентеры переправятся на нашу сторону.

Вот лодка, покружившись на быстрине в середине Дона,

ткнулась носом в косу. Сидящие в ней не спеша вылезли, по-хозяйски вытянули ее на песчаный берег — чтобы не унесло течением — и спокойно направились в нашу сторону. Двое в черных пиджаках и мужичьих картузах, зорко вглядываясь в толпу, скользили по песку, а третий, в длинной кавалерийской шинели, огромного роста рябой солдат с шашкой через плечо, шел, как медведь, тяжелой походкой, ни на кого не глядя. И вдруг, подойдя на пару шагов ко мне, он неожиданно припал на левую ногу и, молниеносно выхватив шашку из ножен, заорал, занеся клинок над моей головой:

— Руки вверх, белогвардейская сволочь! Сдавай оружие!

Еще секунда — и он полоснет меня палашом. Толпа замерла от ужаса. А я поднял вверх правую руку, не желая бросать карабина.

Тогда рябой в бешенстве, брызжа слюной, сбил с меня артиллерийскую фуражку и крикнул, срывая с шеи мой великолепный «Цейс»:

— Я тебя, сука, располовиню. Сдавай оружие!

Я, передавая ему мой новенький, еще не обстрелянный винчестер, обиженно бросил:

— Почему берете бинокль — это же не оружие.

Рябой, побелев от злости, вырвал у меня кольт, который я заранее переложил в карман, и разорвал мне штанину вдоль лампаса. Я был обезоружен, но, странно, совершенно не потерял присутствия духа. Право, не знаю, чем бы эта встреча с красными парламентерами для меня кончилась, вероятно, рябой зарубил бы меня — тогда это делалось легко. Но, как это ни странно, спасла меня моя артиллерийская фуражка мирного образца. Один из парламентеров поднял руку и угрожающе крикнул рябому:

— Не смей его трогать! Это артиллерийский офицер! — Потом, обращаясь ко мне, приветливо, скороговоркой спросил: — Вы артиллерист?

— Да, — ответил я, недоумевая.

— Послушайте, у нас нет артиллерийских офицеров, а пушек много, — и неожиданно: — Хотите командовать у нас батареей?

Не задумываясь, я дал согласие. Рябой рывком бросил шашку в ножны, и толпа сомкнулась вокруг нас.

— Скажите, — обратился ко мне, видимо, главный из прибывших, — а где тут расставлены пулеметы? Откуда-то, кажется, из городского сада стреляли!

— Ей-богу, ничего не знаю. Я только сегодня ночью пришел в станицу. Думаю, что тут никого нет. Ночью за станицей на Пирамидах встретил казачью конницу — шла на какие-то хутора. Кажется, на Большой.

Вытащив серебряный портсигар, на котором по тогдашней моде были припаяны подарки друзей — миниатюрные погончики, золотые монограммы, подписи, я предложил моему собеседнику закурить. Не имею представления, что хотели делать эти парламентеры в станице. Окруженные толпой, мы шли по узкому Крещенскому спуску к Воскресенской улице. В толпе мелькали лица близких и знакомых мне людей, я раскланивался с ними, но они в испуге шарахались и, виновато улыбаясь, прятались в толпе. Тогда, впервые за свою короткую жизнь, я узнал цену дружбы — в минуты, когда человек попадает в беду.

Толпа и мы с нею вышли на Воскресенскую. И вот в это время неожиданно послышались частые, короткие выстрелы со стороны тюрьмы. Толпа заметалась и шарахнулась врассыпную. В мгновение ока пространство перед церковью опустело. Мои спутники растерянно засуетились, и один из них, обращаясь ко мне, торопливо бросил:

— Мы сейчас вернемся. Садитесь вон там на лавочку и ждите нас. Сейчас начнут переправу наши части. Мы пока хотели бы сдать вас в тюрьму… до переправы. Но видите…

У меня мороз пошел по коже при упоминании о тюрьме, где незадолго до этого на клочки растерзали нашего реалиста Володьку Подольского. Потом мелькнула мысль — прикончат сейчас… Что им стоит… Но комиссар, обращаясь ко мне, скороговоркой бросил:

— Так обещаете, товарищ офицер, что будете ждать нас тут? Мы сейчас начнем переправу.

И я остался один. Сижу на скамейке, жду. Напротив калитка и деревянный забор. На нем большая зеленоватая вывеска: «Портной Токарев». На улице — ни души. Проходит полчаса или более, и вдруг открывается калитка токаревского двора, и из нее высовывается бородатое лицо казака. Глядя на меня вылупленными глазами, он шипит:

— Господин офицер, чего же вы ждете? Бегите!

— Я жду — красных. Бежать не могу — дал слово. Старик взрывается:

— Кому слово? Этим окаянным? Да вы знаете, кто это? Это же тутошние мужики, головорезы! Вас же убьют! Бегите!..

Мысли вихрем проносятся в голове — я не знаю, что делать. Но энергичный дед рванул меня за рукав и втянул в калитку. В огромном дворе толпа, увидя меня, заулюлюкала, зарычала, и кто-то истошно выкрикнул:

— Уходите отсюда сейчас же! Из-за вас нас тут всех перебьют!..

— Но, послушайте, — сказал я, — я тут и не останусь, я

только перебегу через двор, а там по оврагам в Ольшанку или к Пирамидам за станицу…

Мои объяснения, однако, не помогли, и меня вытолкали на улицу. Сверху все постреливали. Пригибаясь, я рванул по тротуару вверх по Воскресенской — к своему дому. Добежав, юркнул в калитку и бросился было к домику, где жил. Но в это время увидел, что из-за приоткрытых дверей подвала гимназии выглядывает кто-то. Я подбежал к порожкам, идущим вниз, и очутился в большом помещении, где когда-то был винный склад Потребительского общества. В подвале было полно людей из соседних домов. По станице, по-видимому, перед переправой красных била артиллерия. Я объяснил, в чем дело, откуда бегу и просил меня спрятать. Тогда обитатели подвала замахали на меня руками и вытолкали наружу с криками:

— Из-за одного офицера погибать не будем!

— Но куда же мне? — растерянно спрашивал я, чувствуя, что и стены родного дома перестали помогать. — Куда же я пойду в шароварах с лампасами? Ведь убьют!..

Сердобольный сосед наш, фотограф Петровский, выскочил из подвала, перемахнул через забор к себе во двор и принес мне старый штатский костюм. Я моментально натянул на офицерскую форму штаны, одел пиджак, но оставалась фуражка, ее было жалко бросать — шил-то дед… И я завернул ее в старый платок, который мне сунула какая-то баба.

По-соседству жил старый дружок отца атаманец Александр Александрович Попов. Из нашего палисадника я перелез через забор к нему во двор, вихрем взлетел на крыльцо, схватил щеколду, но дверь была заперта. Вбегаю в сарай, присаживаюсь и смотрю на крыльцо через щель сарая. Жду нестерпимо долго. Наконец стукает калитка, и во двор входит Александр Александрович с женой и двумя детьми. Я радостно вырываюсь из сарая и прошу:

— Александр Александрович, ради Бога, спрячьте меня. Убьют! Он с ужасом смотрит на меня и говорит:

— Да ты, Коля, с ума сошел! У меня же двое детей, жена. Станица полна красноармейцев… Я сейчас там был. Тебя ищут! Уходи от греха… Уходи скорей!..

Постояв в раздумьях, я перелез через соседний забор и очутился в небольшом садике, заросшем бурьяном, крапивой и лебедой. Это было поместье отставного полковника Иванова, который когда-то содержал у себя в доме кинематограф. В саду было небольшое кирпичное здание, где размещалось машинное отделение. Обжигаясь крапивой, я обошел все помещение вокруг. Двери были заперты. Замок не поддавался. Тогда я выдавил

коленом одно из стекол окна и шагнул во влажную полутьму. Пахнуло сыростью, мокрицами и мышами. На широком помостье из толстых пластин, покрытых маслом и паутиной, стояли машины. Исследовав помещение, я решил, что лучше всего спрятаться под помостом, куда легко можно было влезть. Здесь и проведу остаток дня и ночь.

Второй день прошел однообразно. Мучительно хочется пить. Жую стебли влажной от росы травы. Курю. На вторую ночь решаю сделать вылазку — будь что будет! В станице оставаться страшно — убьют. Пришла шальная мысль пробраться в полночь к знакомому почтарю Боякову или Прохватилову, с сыном которого учился в реальном. Часов в одиннадцать ночи вылез сквозь выдавленное окно, осторожно перемахнул через забор и вышел на пустынную улицу.

Дом Волкова приземистый, крытый железом, как у всех зажиточных казаков. Осторожно, стараясь не скрипеть, открываю калитку и вхожу во двор. Всюду масса повозок. Под сараями хруст пережевываемого сена и звяк недоуздков. Подхожу к окну, где предполагаемая спальня Волкова, и осторожно начинаю скрести стекло, постукиваю по нему пальцами. Скоро в окне появляется фигура в белой рубахе. Это, к счастью, Бояков. Всматриваясь в темноту, он спрашивает шепотом:

— Кто?

— Николай Кузнецов, — отвечаю сдавленным шепотом. Под фамилией деда меня знали все знакомые нашей семьи.

— Ты чаво? — испуганно несется из окна.

— Ради Бога, дайте коня — уйду на хутор Большой, — молю я.

— Да ты с ума сошел — дом полон красноармейцев… Тут ихний обоз стоит. Видишь? Уходи Христа ради, уходи скорей. Погубишь ты нас… — И окно осторожно, но решительно закрывается.

Стою как ошарашенный. Хочется пить. Вот беда — забыл спросить воды… Осторожно, делая большой круг, по оврагам и боковым улицам благополучно добираюсь до машинного отделения, где нашел свое, пока надежное, убежище. Начинает светать. Залезаю под настил, дремлю. Потом погружаюсь в глубокий, молодой сон. Будит меня частая ружейная стрельба где-то недалеко и отчетливые крики «Ур-р-ра!» На дворе уже белый день. Солнце на бурьяне в саду блестит росой, и я, как затравленный заяц, высовываю голову из разбитого окна. Прислушиваюсь. Что же это происходит? Повременив, осторожно вылезаю из убежища и подхожу к забору, который отделяет сад Иванова от нашего двора. Стрельба, уже редкая, продолжается, и

я, перемахнув через забор, пробираюсь к воротам дома, которые выходят на Воскресенскую улицу. Во дворе ни души. Все попрятались. На улице идет бой. Став на перекладину ворот, осторожно выглядываю на улицу. По ней от тюрьмы бегут с ружьями наперевес, крича и стреляя, ребята нашего отряда. Рванув калитку, я выскакиваю на улицу и останавливаю одного из них, тот смотрит на меня, как на привидение.

— Черт! Николай! Да ты откуда это? Да тебя же вчера в Клетской отпевали — панихиду служили!

Я остервенело кричу:

— Откуда? Оттуда!.. А где вас черт носил? Почему отряд не пришел в Усть-Медведицу?

— Да мы остались ночевать на Бобровском, — торопливо отвечает мой собеседник и, меняя обойму, бежит дальше.

Тихо бегу по Почтовой улице к Городскому саду, который разбит на высоченном берегу Дона. Из него все Задонье и река как на ладони. Не доходя до Городского сада, останавливаюсь около дома фотографа. Увидя меня, всплескивает руками и начинает причитать по-бабьи Варвара Григорьевна Бабкина:

— Да ты откуда взялся, болезный? Вся станица говорит, что тебя увезли красные… Господи Боже мой, ты знаешь, Виню-то, Виню-то, сына моего, вчера убили! Да что я теперь буду делать?..

Я знал этого рослого, стройного есаула. Он учился у нас в реальном, был опорой матери. Вдруг граната ударила прямо в ворота Городского сада и разнесла их в щепу. Посыпалась штукатурка со зданий Окружного управления и Окружного суда. Ворота сада были как раз между ними. Не задержи меня Бабкина случайно на пару минут, я и попал бы под разрыв…

Считаю нужным предупредить возможного читателя этих моих записок, что в дальнейшем перипетии моей очень пестрой жизни могут невольно напомнить повесть об известных приключениях барона Мюнхгаузена, но прошу верить, что все здесь описанное основано на истинных происшествиях, которые сопровождали мою слишком долгую для нашей бурной эпохи жизнь. Повторяю, все основано на действительных фактах, у меня просто не было надобности что-либо приукрашивать. Прошу верить, как и сам я этому глубоко верю, мне просто в жизни чертовски везло.

Так вот, войдя в Городской сад, я услышал отдаленные выстрелы из ружей и винтовок и пошел на них. По кромке высокого нагорного берега лежала или стояла на одном колене редкая цепь из бородатых дедов всех мастей. Стреляли на тот берег, и по реке, где то там, то сям мелькали головы плывущих из станицы красноармейцев. Попаданий не было, но это был

настоящий бой. Как я узнал из разговоров, слабые части красных, состоящие из Михайловских хохлов и иногородних, заняли на несколько дней оставленную казаками станицу и теперь, когда подошли многочисленные казацкие отряды, спешно отступали.

Покрутившись по саду, я спустился по крутому скату к Дону и пошел по берегу к водокачке. На песке, у самой кромки тихо плещущейся воды, заметил огромную фигуру человека в черном матросском бушлате. Человек лежал навзничь, широко раскинув руки, как будто перед смертью хотел обнять весь этот прекрасный мир. Подойдя вплотную, я узнал бабкиного крестника Алешку Сазонова, огромного матроса Балтийского флота. Как он попал сюда, не знаю. Во рту у него был набит речной песок и вставлена каким-то хулиганом палка. «Вот тебе, болезный, и раскулачил деда Осипа», — подумал я, искренне жалея загубленную молодую жизнь. В 1918 году жизнь не стоила стертого пятака — сегодня ты, а завтра я…

Вернулся домой в станицу. Скоро я узнал, что в Окружном управлении заседает штаб обороны. Откуда-то вдруг появился и новый окружной атаман, он же начальник обороны полковник Георгий Хрипунов. Он в моей жизни сыграл большую роль и помог мне, помимо своей воли, избежать участия в гражданской войне, по крайней мере в ее разгаре. Но об этом скажу позже.

Явившись по обязанности, как и все офицеры, в штаб обороны, я увидел, что все ходят в погонах. Надел и я погоны сотника Донской артиллерии, а вскоре получил приказ принять два трехдюймовых орудия. Выдали и надлежащее количество шрапнелей. После этого я составил орудийный расчет, и батарея стала на буграх, неподалеку от хутора Затонского.

В те дни я узнал о гибели моего двоюродного брата Василия Фролова. Он ехал с донесением, и где-то за Доном его перехватили. Васю живым зарыли в землю. При известии об этом у меня будто оборвалось что-то внутри…

В штабе обороны округа мне сообщили еще одну печальную новость: убили Колю Руднева. Только два дня назад я спал с ним вместе в душной казачьей хате на полу. И вот его нет… Спазмы непроизвольно сжали горло, не в силах превозмочь себя, я судорожно глотал воздух, когда открылась дверь, ведущая в кабинет окружного атамана, и вошел полковник Хрипунов. Увидя меня всхлипывающим, он резко крикнул:

— Сотник Келин! Потрудитесь в пьяном виде в штаб не являться! Его окрик при всех, словно ножом, полоснул меня. Я никогда не брал в рот спиртного, и, взбешенный незаслуженным оскорблением, я шагнул навстречу полковнику.

— Прошу освободить меня от обязанностей командира

батареи! — почти выкрикнул полковнику. — Я не хочу принимать участия в этом кабаке!

Хрипунов опешил:

— Как? Вы трус и большевик!

Потеряв самообладание, я ринулся на него:

— А ты тыловая, штабная крыса! Я на фронт добровольцем пошел, а ты где был?..

В это время, как мне потом передавали, случилось непоправимое: я полоснул его плетью и сбил погон…

Помню одно — Хрипунов круто повернулся и, хлопнув дверью, крикнул:

— Арестовать! Под военно-полевой суд!..

Я знал, что означали эти слова. При новой власти полевой суд означал верную смерть. Я тогда выхватил наган и, прислоняясь спиной к стене, решительно заявил:

— Не сдамся! Не подходите — стрелять буду!..

Долго упрашивали меня товарищи, чтобы я сдал оружие, но я сопротивлялся. Наконец Саша Мельников меня уговорил, и тут же ко мне приставили двух казаков, братьев Мешковых, и увели домой.

На следующий день на почтовых в Усть-Медведицу прискакал дед. Изыскивались способы для спасения меня от неминуемой расправы. Выбор остановился на друге нашей семьи, военном враче Маркиане Ивановиче Алексееве. У него было ужасное лицо, но золотое сердце. Не знаю, по какой причине, но его бесформенный нос был составлен из лоскута кожи, взятой со лба. И вот этот человек, пользуясь своим неоспоримым авторитетом, сказал деду:

— Другого выхода, Иосиф Федорович, нет — я его признаю душевнобольным, и мы его спрячем от суда в Новочеркасской психиатрической больнице, тем более что тут дело связано и с недавней контузией…

Дед согласился. Вскоре подали тройку, в сопровождении братьев Мешковых меня, как «опасно душевнобольного», покатили в Новочеркасск. Чтобы я не сопротивлялся, мне объяснили, что везут представляться к Войсковому атаману Краснову, который якобы хочет меня наградить за Михайловскую операцию. В той «операции», кроме беспорядочной стрельбы, ничего не было. Но я почему-то поверил этому. Настроение мое было приподнятое. Тогда уже я пописывал стихи и всю дорогу пытался говорить рифмами.

На ночь мы остановились в Клетской, чтобы рано утром двинуться на станцию Суровикино. И вот на рассвете я с дедом на заднем сиденье почтового тарантаса. Один из Мешковых на

козлах, рядом с кучером, второй — против нас, на откидном сиденье. У меня по-прежнему радостно и легко на душе. Но дед задумчив и молчалив.

По слухам, я знаю, что Краснов — писатель, пишет стихи. Это он написал новые слова к старинной песне, ставшей казачьим гимном, одобренным Войсковым кругом:

Всколыхнулся, взволновался
Православный, тихий Дон.
И послушно отозвался
На призыв свободы он…

Дон детей своих сзывает
В Круг державный, войсковой —
Атамана выбирает
Всенародною душой…

Эти слова меня захватывают и переносят во времена седой древности, в Дикое Поле, когда на окраинах Государства Российского, тогда еще неокрепшего и молодого, казачья вольница оберегала его от набегов татар. В степь шли отчаянные, буйные головы, у которых был только один закон — воля, а при приеме в свою ватагу они задавали только один вопрос: «В Бога веруешь? Перекрестись!» И новый член казачьей вольницы вступал в свободное степное братство, которое свято хранило заветы своих отцов. Надо было долго жить среди казаков, чтобы хорошо понять этот искони свободолюбивый народ и полюбить его. И вот теперь атаман Краснов среди пылающего костра обезумевшей России пытался восстановить хотя бы тень той славной старины, которую казаки любили и почитали…

Дантов ад

Новочеркасск, столица русской Вандеи, кишел, как встревоженный муравейник. По улицам сновали казаки, юнкера, офицеры, пешие и конные ординарцы, и чувствовалось, что тут туго и нервно бьется пульс новой казачьей республики.

Поезд медленно вполз на старенькую станцию и остановился, сердито отдуваясь, после большого перегона по раскаленной июньским зноем степи. Где-то недалеко был атаманский дворец, откуда шли беспрерывные распоряжения на многочисленные фронты, опоясавшие область. Вдали торчала триумфальная арка, поставленная в честь посещения Новочеркасска последним

императором. Небольшие казачьи домики, златоглавый купол Войскового собора, извозчики по булыжной мостовой — ничего необычного.

Дед, едва мы приехали, засуетился нанимать извозчика, братья Мешковы куда-то исчезли. Но вот мы с дедом разместились на дрожках и покатили, как я полагал, в заветный атаманский дворец. Возница лениво погонял ледащую лошаденку, гремели колеса по выбитой мостовой, а навстречу все ниже присевшие по сторонам домишки, все уже и грязнее улица. «Где же обещанный атаманский дворец? — недоумевал я. — Неужели Краснов живет среди этих трущоб?»

— Дедушка! Куда мы едем? — спрашиваю наконец. Дед коротко бросает:

— Скоро приедем.

И вот мы где-то на окраине города. Извозчик въезжает в небольшой двор, останавливается у низкого крыльца, и вдруг появляются два звероподобных верзилы и спрашивают:

— Что, привезли больного?

Я в недоумении смотрю на деда и, соскочив с дрожек, пускаюсь бежать. Но навстречу нам вышли ребята опытные: один перехватил меня на бегу, второй, подставив ногу, сгреб в свои медвежьи объятия, и вот я повис в воздухе, болтая ногами и тщетно стараясь освободиться.

Деда я больше не видел. А эти молодцы в белых плащах санитаров втащили меня в какое-то мрачное, полутемное помещение, где стояло несколько каменных допотопных ванн, сорвали остатки одежды и бросили в ледяную воду. Не довольствуясь этим, один из них — маленький, широкогрудый, как я узнал потом, казак Лукьяныч, очень напоминающий добродушного гоголевского Пацюка, — подскочил к ванне и погрузил мою голову под воду, а второй верзила придавил тело. И так они держали меня до тех пор, пока я не начал захлебываться. Тогда на минутку отпустили — и снова под воду. Я безумными глазами глядел на своих мучителей, а они, посмеиваясь, ворчали:

— Мы тут и не таких укрощали. Утопим, сукин сын, как лягушку!

Беспомощный, обессиленный, я лежал в ледяной воде и дрожал. Вот и приехал к атаману Краснову…

Вытащив, наконец, меня из ванны верзилы бросили мне рваную холщовую рубаху, портки с бахромой, и я понял, что попал в сумасшедший дом. Поместили меня в палату буйных. И кого там только не было!..

Теперь, на старости лет, выйдя после второго инфаркта на

пенсию, я начал работать как терапевт в местной психиатрической лечебнице в Желиве, где постоянно живу. Придя в лечебницу, я собрал персонал, обслуживающий психически больных, и категорически заявил:

— Послушайте, ребята, вот эти заведения, где вы работаете, всюду более или менее одинаковы — будь они у нас в России или тут. На одной стороне беззащитный, за свои поступки не отвечающий больной, а на другой вы. И вот если у кого-либо из вас лопнет однажды терпение при исполнении своих служебных обязанностей и кто-нибудь из вас звезданет непослушного пациента — тогда я собственными руками откручу этому молодцу голову! Я сам просидел в сумасшедшем доме более года…

Слушатели хлопали глазами, кое-кто не поверил моей короткой лекции. Но за время работы в той лечебнице четыре субъекта были выброшены мною со службы без права когда-либо сотрудничать в здравоохранении.

Так вот, вспоминая контингент обитателей буйной палаты, как сейчас, вижу огромного идиота Мишку, бывшего фельдфебеля, сидевшего в Новочеркасском сумасшедшем доме с русско-японской войны. Этот совершенно безобидный великан не знаю почему попал в буйную палату — он был тих, молчалив и только мычал. Но он был грязен и неряшлив до невозможности. При раздаче пищи Мишка обычно становился у дверей и отбирал у многих пациентов миски с едой, моментально проглатывая все, что в них было, давясь и захлебываясь. Этот белобрысый великан с прозрачными и голубыми, как незабудки, глазами всегда ходил без штанов, босой, в разорванной рубахе. Однажды веселые служители подзадорили его:

— Мишка, не выпьешь весь водопровод!

Мишка, по-видимому, понял издевку и, подойдя к крану, приник к нему. Он пил задыхаясь, ловя воздух, и я видел, как его дряблый живот становился огромным, как шар, и создавалось впечатление, что вот-вот он лопнет. Его принялись оттягивать от водопровода, но он все пил и пил… Тогда один из санитаров принес полено и начал гвоздить Мишку по согнутой спине. Отдуваясь и мыча, он наконец бросил кран и улыбнулся, глядя на извергов своими чудными глазами.

Второй примечательной фигурой, которая запечатлелась в моей памяти, был человек средних лет с благообразным лицом, напоминающим Сусанина. Редко приходилось встречать такие спокойные, благообразные лица. Он всегда тихо сидел на кровати в углу и, аккуратно отламывая кусочки хлеба, медленно жевал его, а крошки ссыпал куда-то в бороду. Он никогда не повышал голоса и внешне всегда казался спокоен. Но это был неизлечимый

и опасный параноик, вырезавший целую семью. Он воображал себя почему-то папой римским и для сомневающихся в этом был страшно опасен. Так вот этот-то человек оказался моим соседом. В бешенстве он становился страшным.

Еще один сосед — студент-шизофреник Коля — постоянно онанировал, ходил целыми днями по диагонали палаты и время от времени выкрикивал стереотипно и без всякого выражения единственное слово: «Милюков!» Когда я его пытался расспрашивать, что это значит, он бессмысленно улыбался и продолжал онанировать.

Был и еще один очень худой, беспрерывно шагающий по коридору студент, который не отвечал ни на один вопрос и постоянно решал задачи по высшей математике. Делал он это даже во время обеда, не глядя в миску.

В палате было и много тяжелых эпилептиков, которые постоянно бились в конвульсиях и с пеной у рта страшно кричали по ночам. Служители во время приступов обычно наваливались на них и прижимали к полу, чтобы те не повредили себя. Но хуже всего было по ночам. Пациентам можно было курить, и некоторые из них тушили о спящих горящие папиросы, мочились соседям в уши, на постели. Оберегая уши, я затыкал их на ночь хлебным мякишем и старался закрывать голову одеялом.

Крепко наказывали больных. За малейшее неповиновение персоналу служители завертывали пациента в мокрые простыни и зашивали с ног до подбородка в одеяло. Человек лежал запеленутый, как египетская мумия, страшно потел и мучился жаждой. После нескольких часов такой процедуры, а ее со мной производили часто, я от слабости еле держался на ногах, а служители смеялись. Снова по всему телу от сквозняков у меня пошли огромные фурункулы. Вскрывали их без анестезии в местной амбулатории. Я, естественно, очень страдал от этих процедур и сопротивлялся. Тогда, по знаку фельдшера или врача, на меня наваливались несколько служителей, эскулап делал свое дело, а я ревел что было сил. Почему-то мне все время давали хинные капли в воде, я их так возненавидел, что впоследствии своим пациентам даже в случаях, когда они были нужны, избегал их предписывать.

В такой вот обстановке потянулись долгие сумбурные дни, и норой я откровенно завидовал идиотам, которым было все равно. Иногда нас выводили на прогулки во двор, обнесенный высоким, почти непроницаемым деревянным забором. Не перенося заточения, я неоднократно пытался бежать через тот забор, но каждый раз меня ловили и жестоко избивали или топили в ванной — обычный способ укрощения строптивых. Иногда я

приходил в сознание в изоляторе, лежа на голом полу. Тут все было бесконтрольно и с пациентами не церемонились. Главным врачом был Потап Петрович Головачев, человек с не сходящей с лица сладкой улыбкой, говоривший вкрадчивым, тихим голосом. Он был выше среднего роста, черный, с небольшими темными усами и глазами, которых я никогда не видел. Он называл меня Колей и часто уговаривал, чтобы я слушался служителей. Я просил его пустить меня домой, он, улыбаясь, что-то обещал и уходил. Никого из родных ко мне не пускали. Никаких лекарств, кроме противной хинной воды, нам вообще не давали, и я до сих пор не могу понять, что делал Потап Петрович в этой так называемой больнице для умалишенных.

Иногда, когда мои надзиратели считали, что я веду себя хорошо, меня переводили в так называемую «тихую палату». Она располагалась рядом, в конце коридора. За пациентами там следила сестра Л ушка, баба молодая, но как черт занозистая и насмешливая. И вот как-то в одно из моих неоднократных пребываний в той «тихой палате» Лушка начала меня изводить, вероятно, от скуки. Помню, был тихий летний вечер второго лета, которое я проводил в этом богоугодном заведении. Лушка скучала и, как никогда, была в ударе. Наскучив дразнить вялых и равнодушных пациентов, она обратилась ко мне:

— Ага! Наши казачки на фронтах с большевиками бьются, казачью свободу защищают, а ты?.. То-о-оже со-о-отник! В кусты забился и от фронта спасаешься? Иди, вот я тебя под бабью юбку посажу… мамунич! — и подняла край юбки. Мамуничами у нас называли слабосильных казаков, освобожденных от военной службы. Это прозвище на Дону, пожалуй, было самым хлестким и позорным. Вообще у казаков считалось позорным, если его не брали на военную службу. Бывало, при призывах около станичного правления казачки сидели и ждали результата осмотра медицинской комиссии: если казак с опущенной головой выходил из правления и цедил сквозь зубы «Не взяли» — раздавался крик его бабы: «Снял ты с меня голову, проклятущий, мамунич… И как мои глазыньки на людей будут глядеть!..» Так вот, этим позорным на Дону словом ядовитая Лушка хлестнула меня, как плетью. Сначала я оторопел.

— Я мамунич?! Ах ты, так твою разэтакую!.. — И, бросившись на Лушку, в мгновение ока разодрал на ней одежду. Она, как змея извиваясь, летала от меня по палате, а я срывал с нее последние клочки оставшейся на ней одежды. На Лушкин визг и крик: «Братцы, спасите!» — из соседней, буйной палаты ворвались несколько служителей и моментально сбили меня с ног. Между ними был рослый казак, как говорили, дружок смазливой Лушки.

Моментально я оказался в коридоре буйной палаты, и тут только началась расправа со мной — «бешеным сотником». Как сейчас помню, кто-то, кажется Лукьяныч — он был самый сильный, — захлестнул мне горло намертво так называемым «нельсоном», меня бешено начали бить в «солнечное сплетение», под ложечку. Я потерял сознание…

Не знаю, спустя какое время я очнулся на голом полу в изоляторе — весь изломанный, совершенно потерявший голос. Нельсоновская петля — захват согнутой в локте рукой шеи — помяла мне горло. Во рту вязкая слюна, кровь… И жутко… Жутко… Ощущение полнейшей беспомощности при полном сознании, что никто тебе не может помочь… Потом вдруг мелькнула спасительная мысль — поможет Потап Петрович: только сказать, только объяснить!.. Он же врач! И Головачев не заставил себя долго ждать.

Происходил редкий в этом заведении утренний обход палат. Помню, открылась дверь изолятора, показался главный врач, и я, став на колени, хрипя — голоса-то нет — говорю:

— Милый Потап Петрович, спасите от этих извергов. Пустите домой. Ведь меня здесь убьют…

Головачев, окруженный служителями, подходит ко мне и, участливо так гладя по голове, сладким голосом отвечает:

— Да что ты, Коля, у нас не бьют. Это тебе только кажется… Я, услышав эту филиппику главного врача, вскочил на ноги и, схватив его за ворот рубахи, который треснул и остался у меня в руках, заорал:

— Кажется?.. Мне кажется?! Ах ты палач! Да как ты смел стать врачом!..

Подскочившая свора прислужников оттащила меня от Головачева, и дверь изолятора надолго захлопнулась.

Родных ко мне по-прежнему не пускали. Я скучал и почти ничего не ел. Исхудал до невозможности. При росте 174 сантиметра весил только 50 килограммов. Я уже потерял всякую надежду когда-либо выбраться из этого ада на земле. Но вот как-то под вечер меня вызвали в приемную комнату, куда обычно водили больных к родным и знакомым. Вошел я туда и глазам не верю. Передо мною стояла Анфиса, моя старшая сестра, а рядом с нею толстушка Бурыкина, которая когда-то приезжала в Саратов вместе с моей мамой и Анфисой провожать меня на фронт. В близоруких глазах сестры при виде меня застыл нескрываемый ужас. Подойдя вплотную ко мне, она всплеснула руками, упала на плечо и сдавленно зашептала:

— Боже ж мой… что они с тобой тут сделали… — и заплакала. Я стоял, опустив голову, и только повторял:

— Родные мои, возьмите меня отсюда… Я тут погибну… Прошу вас…

Сестра, торопясь, рассказала мне, что в нашей станице Клетской — фронт, что бабушка Евфимия с моей младшей сестрой Валечкой остались дома — сторожить остатки имущества, а дед с отцом и мамой переехали в Ростов-на-Дону, что живут они на Почтовой улице у какого-то профессора Ростовского университета, переведенного сюда из занятой немцами Варшавы.

Фина ушла. Через несколько дней меня снова вызвали в приемную. В комнате для посетителей стояли отец и дед. Отец не изменился, но что случилось с дедом?.. Это был он и не он. Его фигура, усы, но глаза… Это не были быстрые, любимые, всегда внимательные и зоркие глаза деда, человека волевого, несгибаемого. На меня печально смотрели глаза затравленного и совершенно больного человека, терявшего почву под ногами. До сих пор, после всего страшного, что я пережил в жизни, помню, как мне тогда было тяжело и как я всем своим существом почувствовал, что произошло что-то непоправимое… Поговорив о том, о сем, решили, что меня перевезут в частный санаторий к известному доктору Покровскому. Так и сделали. Но у Покровского я не задержался долго. Вскоре пришли вести, что фронт от Клетской ушел куда-то далеко на северо-запад и что генерал Мамонтов, очень популярный у населения, прорвал фронт и идет на Москву по тылам красных. Он уже занял Орел и якобы подходил к Туле. В этот гремевший по всей стране рейд ушел и мой троюродный брат, лихой есаул Федя Фролов, с которым при отступлении и разгроме белых армий меня связала судьба.

Выписавшись из санатория, я явился в Войсковую санитарную комиссию, где мне выдали свидетельство, освобождающее меня от несения военной службы. Комиссия эта не освобождала никого, но одна фраза — был в сумасшедшем доме — навсегда лишила меня права и повинности служить в армии.

Начало конца

Прожив некоторое время в Ростове, наша семья вернулась в Клетскую. Горько было видеть на тихих улицах станицы и в пахучих лазоревых степях кровь. А горю и этой крови еще и конца-то не было видно. Некоторое время, правда, мы жили тихо и мирно, но вскоре пришли тревожные вести, что на фронте неладно, что знаменитый Мамонтовский рейд не удался, что корпус разбит наголову где-то под Коротояком, а где этот

Коротояк никто не знал. Все чаще по ночам проходили через станицу отступающие части. Вообще была сломана какая-то пружина в механизме казачьей армии — незаметная для непосвященных, но роковая и непоправимая. Фронт явно разваливался, и уставшие казачьи части, которые уже нечем было пополнять, неудержимо откатывались к Дону, внутрь притихшей от ужаса области. А с казачьими частями отступали и так называемые цветные войска Добровольческой армии — черные, как монахи, марковцы, страшные в своем неукротимом напоре корниловцы, дроздовцы и другие.

Шел октябрь 1919-го. По утрам уже появлялись заморозки, на крышах блестел иней. И вот в станицу пришла и стала на несколько дней Атаманская бригада, состоящая из четырех полков — Калединского, Платовского, Ермаковского и Назаровского. Последний назывался в честь войскового атамана Назарова, который после самоубийства Каледина атаманил только несколько дней и был расстрелян в Новочеркасске войсковым старшиной Голубовым и его красными казаками.

Я, по обыкновению, целые дни проводил за чтением, пополняя пробелы в русской литературе. И вот как-то утром, сидя, по обыкновению, в столовой, я, как сейчас помню, читал «Слепого музыканта» Короленко. Бабушка Евфимия готовила обед, и вдруг слышу, как кто-то прошел в кухню и начал с ней переговоры. Затем бабушка сходила в спальню и пронесла с собой в кухню белье. И вот тут полетело!

— Ты что же думаешь, старая карга, отделаться двумя простынями и парой белья?.. — орал кто-то. — Да я у тебя переверну вверх дном все сундуки и комоды!., мать-перемать!..

Меня как плетью хлестануло — я бросился на кухню. Там, у входной двери, стояли два рослых чубатых казака и ледащий офицерик с плоским конопатым лицом и бесцветными глазами. Я сразу узнал в нем корнета Олимпиева, сына попа тюремной церкви в Усть-Медведице, и, подойдя к нему вплотную, тоже заорал:

— Послушайте, вы что позволяете себе так разговаривать со старой женщиной?! Ну?!

— Я адъютант генерала Сутулова, сотник! Как вы со мной разговариваете?! — взбеленился корнет, смущенный присутствием казаков.

— Вы не адъютант, а бандит, который явился грабить мирную семью! Убирайтесь вон, пока я не применил оружие!

Побелевший от бешенства корнет выдавил из себя:

— Я пришел реквизировать перевязочный материал по приказу начальника бригады. А вы хотите отделаться парой

простынь и белья, — и, уже обращаясь к казакам, крикнул: — Идемте! Это дорого будет стоить этому молодчику!

— Вон! — крикнул я, захлопывая за ними дверь.

Результат визита не заставил себя ждать слишком долго. Приблизительно через полчаса за мной явилось несколько казаков с офицером, арестовали меня и повели в штаб Сутулова, который размещался на церковной площади. У генерала, как оказалось, в это время происходило какое-то совещание, и мне пришлось ждать несколько часов. Наконец после обеда на террасу дома быстрыми шагами вышел чем-то озабоченный поджарый генерал. Рядом с ним, семеня ногами, какой-то козлиной иноходью передвигался корнет Олимпиев и, кося на меня бесцветным глазом, докладывал:

— Вот, ваше превосходительство, большевик, которого я арестовал по вашему приказу!

Сутулов, глядя исподлобья, круто остановился около меня и приказал страже:

— Разоружить! В расход!

С меня сорвали погоны, отобрали револьвер, но я успел крикнуть уходящему генералу:

— Я не большевик! Меня только что выпустили из больницы. Вот медицинское свидетельство войсковой комиссии!

Сутулов, не оборачиваясь, бросил:

— От фронта спасаешься! На гауптвахту!

На этом разговор и кончился. Меня привели на окраину станицы в казачью хату, где уже сидели Вячеслав Гавриилович Маргаритов, сын отца Гавриила, преподаватель Вольского кадетского корпуса, и толстуха Катасонова. Оказалось, что они сидели за то же «преступление», что и я.

Сутулов был близким родственником нашего священника отца Виссариона Бурыкина, В доме этого культурного и всеми уважаемого священника мы часто бывали, так как дружили с его детьми. Дед и родители всю ночь бегали к Бурыкиным, что-то объясняли и наконец добились, что утром, когда я уже ждал расстрела, меня освободили. Бригада двинулась дальше, а в станицу все чаще и чаще заскакивали проститься с родными казаки отступающих частей. Заехал на минутку и мой родственник Федя Фролов. Он уже был войсковым старшиной. Узнав о моих недавних перипетиях с Сутуловым, Федя решительно заявил:

— Колю непременно убьют наши или красные. Красные сейчас злые, особенно после нашего рейда. Офицера, да еще казачьего, убьют обязательно!.. Я завтра же возьму Николая с собой — пусть у нас в корпусе в обозе едет…

Родители и дед, конечно, согласились с резонами Феди, моя судьба была решена, и, как оказалось, навсегда… Наутро дядя Яков, отец Феди, прогремел по подмерзшей на морозце дороге и остановил ладную тавричанку перед воротами нашего дома. Во дворе уже суетились дед, бабка, мать, сестры. Отец поспешно совал мне папиросы, зная, что в дальней дороге хорошо закурить, а дед неодобрительно косился на него, трогая по привычке сбрую.

Дорога предстояла дальняя — на станцию Суровикино, это верстах в девяноста от станицы. Там мы встретили войскового старшину Михайлушкина, который, оказывается, бывал у нас в доме и знал нашу семью. Он, как и Федя, возвращался в свой полк и предложил мне ехать с ним, обещая устроить в обозах артиллерии корпуса. На какой-то станции я встретился с Николаем Орловым. Орлов был внуком моей бабушки Евфимии, и встреча наша оказалась радостной, приятной воспоминаниями детства.

— А ты что же без коня? Что будешь делать? — спросил вдруг Николай.

— Да на черта мне конь! Я ведь не военнообязанный… — пояснил я. — Пристроюсь где-нибудь в обозе…

— Нет, Коля, — не унимался Орлов. — У меня тут в вагоне есть знаменитый конь. Собственный. Возьми его. Какой же казак без коня? А потом сочтемся — свои же люди…

Сделка была заключена, и Николай вскоре привел коня неописуемой красоты. Это был серый в яблоках трех- или четырехвершковый красавец. Шерсть на нем переливалась всеми цветами мрамора и блестела. Грациозно переступали стройные, тонкие ноги, а шея с нарядной гривой выгибалась, как у лебедя. Живые, необычайно красивые и выразительные глаза умно и зорко следили за каждым моим движением, но я пока был чужим.

— Ну, уж ежели конь, то как без седла? — сказал Николай и принес чудесное казачье седло с луками, окованными серебром.

Когда же подседланный конь начал вытанцовывать на площадке перед вагоном свой, только ему известный ритмичный пируэт, я ахнул…

Каждый офицер, желающий остаться при корпусе, должен был представиться генералу Мамонтову. Его мы нашли в Дебальцево. Помню, в маленькой полутемной приемной ждало несколько офицеров. Наконец из комнаты, где, по-видимому, работал генерал, в переднюю вышел высокий, подтянутый красавец в генеральских погонах. Он крепко пожал мне руку, выслушал мой рапорт и объяснения, почему я прибыл в его корпус, и направил к инспектору артиллерии корпуса полковнику Маркову.

Так я был определен в восьмую батарею третьего дивизиона, которым командовал георгиевский кавалер полковник Леонов. Батарею я нагнал на своем великолепном дончаке где-то уже в пути, на походе. Командир батареи Александр Николаевич Пустынников, как и я, окончил Константиновское артиллерийское училище в Петрограде. Вообще мне повезло. Пустынников и все офицеры приняли меня очень радушно. Но комбат сразу же заявил мне, что у них офицерский состав комплектный и что я не могу быть определен на какую-либо должность в батарее. Тогда я попросил зачислить меня только на довольствие, на что, конечно, получил согласие: все равно в то сумбурное время большинство воинских частей питались, как говорится, на подножном корму. Перебивались кто как умел, — многое зависело от предприимчивости заведующего хозяйством батареи. Впоследствии, когда никто не хотел брать эту неблагодарную должность, я принял ее. Так, совершенно случайно, я и вошел в крепкую, дружную военную семью Донской армии, которая медленно, без боев отходила на юго-восток, к Новочеркасску — казачьей столице.

Из моих боевых друзей почти уже никого не осталось. Их рассеяло по всему свету, многие спят вечным сном на русском кладбище Сен Женевьев де Буа, под Парижем. В реабилитации они не нуждаются. Эти русские мальчики — офицеры, из которых преимущественно и состояла Добровольческая армия, бывшие студенты, бежавшие на юг от самосудов, — безумно любили искромсанную Родину. Они не происходили из каких-то, как позже писали, привилегированных слоев русского общества. Ни высшей знати, ни помещиков, ни очень зажиточных сынков из богатых семей с нами не было. В Добровольческой армии был в основном русский середняк, сыновья так называемого третьего сословия, которое только что начинало зарождаться в России. Многие из них, в том числе и я, грешный, не могли забыть крылатой фразы, слышанной нами на разлагающемся тогда фронте мировой войны от свалившихся откуда-то многочисленных агитаторов: «Товарищи! Россия — только трамплин для скачка в мировую революцию! Если бы во имя этой идеи мы оставили от России только пепел, пустыню — мы это сделаем! Бросайте оружие! Не смейте слушаться ваших офицеров и стрелять в немецкий пролетариат, одетый в солдатские шинели! Офицерство ведет вас на братоубийственную войну, желая только получать двойное жалованье и награды!» Это мы-то, просидевшие столько времени в ржавых окопах, защищающие от врага свое Отечество и думающие лишь об одном — как бы поскорее вернуться в оставленные аудитории, закончить

прерванное образование и начать служить нашему народу…

Непоправимый исторический парадокс был налицо. Для меня и этих мальчиков-добровольцев Россия не могла быть ни трамплином для скачка в мировую революцию, ни тем более объектом, из которого от нашего Отечества могла остаться только пустыня…

Об этом пока не пишут. Но придет время — историческая перспектива поставит все на свои места и, безусловно, исчезнет неправедное отношение к воинам Белого стана, навязанное чужебесием…

Справедливости ради следует сказать, что к большому движению масс к Белой армии примазывалась всякая сволочь — авантюристы, люди, делающие шаткую личную карьеру. Но это были одиночки, а одна ласточка, как говорят, весны не делает.

И все же в памяти сохранилось такое, о чем лучше бы и не вспоминать. Расскажу о самом страшном эпизоде, который во время гражданской войны мне удалось видеть. Два или три месяца после него я ходил как шальной, будто в каком-то кровавом тумане, и до сих пор я не могу этого забыть. Долго в беспокойные ночи снился мне этот кошмар, и я даже как-то в студенческие времена написал об этом стихотворение «О чем пел набат», о котором в нашей среде в свое время было много споров и толков. Я приведу его в конце эпизода.

Итак, 23 или 24 декабря 1919 года казачьи части навсегда оставляли свою столицу Новочеркасск. Генерал Мамонтов, как тогда говорили, попал в опалу и умер где-то на Кубани от сыпного тифа. Все возможно. Корпус временно принял генерал Т-н, человек очень набожный, в прошлом якобы полицейский пристав.

За неделю или меньше перед Рождеством часть корпуса, отогнав наседающего противника, пробила фронт и прорвалась к Провалью, где были расположены знаменитые конские заводы, откуда офицерский состав укомплектовывался чудесными лошадьми — помесью английских кровей с донскими, степными скакунами.

Именно оттуда выходили изумительной красоты, грации и легкости провальские кони-полукровки.

Наш артиллерийский дивизион в этой операции не участвовал, а части прорвавшегося к Провалью корпуса накрошили там месиво тел и захватили в плен мало подготовленную к боям дивизию — что-то около 4000 человек. Это был последний прыжок умирающего барса. Уже никогда позже деморализованные остатки Донской армии не проявляли ни такой инициативы, ни оперативности. Разве только вот в

белом Крыму так называемая 2-я Донская дивизия по приказам Врангеля моталась на выдохшихся конях по Северной Таврии — от Мариуполя до Каховки и дальше — до нынешнего Запорожья, тогда захудалого городишки Александровска.

Помню ясный, морозный день. Дело было в Сочельник. Части одна за другой шли по звонкой дороге переменным аллюром — то шагом, то переходя в легкую, облегченную рысь. Командование спешило, так как красная кавалерия сидела уж на хвосте наших арьергардов. Военнопленные, еще не успевшие надеть на себя форму регулярных частей Красной Армии — кто босиком, кто в чулках, многие без картузов, — бежали трусцой. Ведь на дворе стоял крещенский мороз. Новоиспеченный генерал Р., осклабясь переговаривался с бегущими рядом пленными. Над обреченной колонной — клубы пара. И вот вижу, генерал протягивает руку к своему вестовому, тот молча подает ему карабин. Мгновение — раздается выстрел в затылок бегущему, и все повторяется сначала…

Так продолжалось версты две-три. Мальчишки с простреленными головами падали, как снопы, а колонна все бежала и бежала дальше. Но вот по рядам, как молния, пролетел слушок, что красная кавалерия совсем близко, а наши части не могут ее сдержать. Нужно ускорить аллюр, и становится ясным, что бегущую рядом у дороги бесконечную колонну пленных придется бросить. Но как бросить? Завтра же они пойдут на пополнение Красной Армии и будут бить нас. А посему принимается решение уничтожить на месте почти четыре тысячи русских парней… Это поистине страшно, чудовищно.

Но вот появляются дровни с пулеметом. На них два или три казака. Сани сопровождает отряд всадников с усатым, насупленным вахмистром. У него в руках плеть. Казаки, чуя неладное, начинают роптать:

— Да неужто, прости Господи, решатся… да под такой праздник?.. Однако кто-то, несмотря на Сочельник, уже решил судьбу этих парней. Один из казаков устанавливает поудобнее в задке дровней пулемет и укрепляет его. Второй, стоя рядом на коленях, зло кричит:

— Не буду стрелять! Не бу-у-уду!..

— Да ты что, очумел? Не мы их, так они нас завтра, в твою душу!..

И вот тогда третий казак, ударив шапкой о землю, бросается к пулемету и, крестясь, с захлебом кричит:

— Давай! Господи, благослови! Давай… мать твою!..

Слышатся исступленные крики:

— Да, братцы, да чего же вы! Пощадите!.. Мы же

мобилизованные… Да мы же с ва-а-ами!..

— Начинай! — орет вахмистр, и пулемет, приседая и дрожа, начинает рвать пулями живые тела.

Многие, как подкошенные, падают навзничь в снег, кричат, обезумев, пытаются метнуться в сторону, но пулемет беспощаден — он достает всюду… Потом вахмистр и его казаки зорко осматривают недобитых, стонущих в конвульсиях людей и в упор добивают их из наганов на месте. И так партия за партией. Я не выдерживаю этой бессмысленной бойни и гоню упирающегося коня куда-то в сторону, чтобы уйти от этого ужаса…

За нами остался Новочеркасск, и золотой купол Войскового собора провожал нас почти до самого Аксая. К станице части подошли к полудню. На улицах появились огромные бочки с вином. Выбивая днища, казаки цыбарками и эмалированными кувшинами черпали хмельную влагу, и скоро всем стало весело. Часто бородатые старики, хозяева винных погребов, которых тут было немало, выкатывали бочки сами и предлагали уходившему Войску Донскому:

— Ии-и-их, чадушки, пейте родимые! Винцо доброе. Чаво ж, не будем оставлять супостатам — за вами видь «ваньки» идут, все выхлюстают…

А потом вдруг, озлобившись:

— А чаво ж вы, окаянные, тут на погибель нас покидаете? На кого? Вояки… Мы вот при Скобелеве, царство ему небесное…

Но казак, набрав цыбарку вина, его уже не слушает и пьет через край игристую донскую влагу. Напившись до отказа — по самую завязку, — как говорят у нас, он сует ведро своему коню и осоловело бубнит:

— Пей! Авось веселее повезешь…

Конь, чуя что-то непривычное в ведре, крутит головой и сторожко переступает ногами.

— Ты чаво добро переводишь, станичник? — говорит подъехавший подхорунжий и берет у него цыбарку. Ведро идет по рукам. На улице весело, как в Запорожской Сечи при дележе добычи. Но чувствую: Дон, мой Дон умирает… И, повернув коня, молча я гоню его к станице Хомутовской, куда тянется вся наша веселая конница…

На Кубань

Корпус временно расположился в районе станиц Хомутовской и Ольгинской, откуда до Ростова было подать рукой. Казаки никогда не любили этого города, где было чуждое им, резко разделенное на две непримиримые категории население: на одной стороне тонущие в золоте купцы-толстосумы, а на другой — разбойная, смотрящая исподлобья, озорная рабочая голытьба, с которой по вечерам лучше было не встречаться — могли и ножом полоснуть. Издали доносилась беспорядочная стрельба. Говорили, что население Темерника и Нахичевани неласково провожало белых рыцарей, как тогда называли в скудной в то жаркое время прессе воинов Добровольческой армии.

Вспоминается яркий, очень морозный, солнечный день в начале января 1920 года. Мороз поистине сковывал все — мороз крещенский, и от него никуда нельзя было ни уйти, ни скрыться. Думается сейчас — и как это люди в старых, легких шинелишках могли все это выдерживать. В сапогах леденели окоченевшие ноги, из тысяч глоток валил пар. А бедные наши кони… Сколько же их погибло! Сколько я их видел бьющихся в конвульсиях со вспоротыми взрывами животами, перебитыми ногами… С жалобным тихим ржанием они огромными, непонимающими глазами провожали проходящие войска, и порой какой-нибудь сердобольный станичник прекращал их мучения выстрелом в ухо.

6 января Первая Конная, по-видимому, решила взять Ростов с налета. Вспоминается заснеженное поле, где-то между станицей Ольгинской и Ростовом, небольшой гребень у какой-то незначительной балки, и вот во всю длину этого гребня выстроились в ряд батареи корпуса. Вдали маячит красная кавалерия, пытающаяся по льду перейти Дон. Но зло ревут наши батареи, трехдюймовки, откатываясь беспрерывно, шлют ураганным огнем снаряды, которые с характерным свистом рвут звенящий морозный воздух и поднимают столбы воды над зеркальным покровом тихого Дона, ломают лед, увечат мечущихся всадников… Я в призматический бинокль ясно вижу, как часть людей с лошадьми уходит под лед, а часть, повернув коней, мчится к берегу. Дон кипит от разрывов, но кажущиеся бесчисленными массы кавалерии все прибывают и прибывают…

Артиллерия усиливает огонь, но конные части корпуса почему-то не принимают участия в бою — Ростов защищают добровольцы. Да и к чему нам мужичий Ростов, если недавно сдали без боя наш Новочеркасск. Дымка времени уже покрыла

флером точность воспоминаний. Кажется, что в этот или два следующих дня Ростов пал. Добровольцы ушли к затаившемуся рядом Батайску, а будущий красный маршал Буденный церемониальным маршем прошел по вымершей Садовой, главной магистрали Ростова.

Перед тем, когда Добровольческая армия, нуждаясь в деньгах, обратилась к богатейшему купечеству Ростова и к сбежавшимся сюда со всей пылающей России толстосумам за помощью, эта жадная сволочь бросила армии, кстати бившейся и за них, жалкую подачку в несколько тысяч рублей. А потом упорно говорили, что тот же Буденный обложил город в пользу Красной Армии контрибуцией в несколько миллионов, и эти толстосумы, перетрусив, заплатили все, не моргнув глазом…

Части шли на юг. Наша батарея двинулась куда-то в сторону от станицы Ольгинской. По дороге мы остановились у какой-то одиноко маячившей в поле скирды сена. Продрогшие до костей люди двигались, как призраки, кони были голодны. И вот у той скирды я пролез между казаками и, прислонившись спиною к душистому степному сену, через минуту заснул мертвым сном.

Проснулся я неожиданно около полуночи и с удивлением увидел, что скирды уже не было — ее за время моего сна дотла съели кони проходивших частей. В полумраке маячило несколько всадников, тихо между собою переговаривающихся. Осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не обратить на себя внимания, приподнимаюсь на локте и вижу, что батарея ушла и, кроме незнакомых мне конных, никого вокруг нет. Всматриваюсь, и ножом режет мысль — кто они?.. Красный разъезд или наши?.. Ведь противник рядом, всего в паре верст. Вот, думаю, попал в переплет. Раззява вестовой ушел с батареей и увел моего коня. Как спросить? Если это красные — убьют. Ведь я как-никак белый офицер. Эти мысли вихрем летят в моей голове, и я смотрю на огоньки вспыхивающих цигарок разъезда. Наконец решаюсь. Кашлянув, сонным голосом равнодушно спрашиваю:

— Эй! Ребята, куда пошла батарея, что тут стояла?

— О ты чаво? Уснул, парень? — спрашивает осипший от махорки и мороза казак. — Какая батарея? Пустынникова, что ли?

Слава тебе, Господи! Наши. Оказалось, что батарея уже давно ушла в юго-восточном направлении, но куда — неизвестно. Снегу полно. Встаю и, чертыхаясь, бреду в направлении, указанном казаками.

На рассвете вдали между копен неубранного сена заметил темные фигурки людей. «Кто это?» — опять тревожный вопрос. Но меня тоже заметили в бинокль и вот навстречу мне послали моего вестового с конем. «Я вас в потемках не нашел, господин

сотник, — оправдывался он потом. — Не мог же я отстать от батареи…»

Установившийся было на пару недель фронт снова пришел в движение. Главная, какая-то никому невидимая пружина, глубоко захороненная в душах бойцов, была окончательно сломана, и огромные боевые части панически бросали фронт и часто отступали перед незначительными группами красноармейцев. Кони шли, шатаясь и увязая по колени в черной грязи, еле передвигая ноги. Сойти с коня было невозможно — сразу оказывался как в вязкой смоле. И вот пришел приказ: бросить все повозки, все, что имело колеса, за исключением передков, зарядных ящиков и орудий. Что же тогда началось! На Передки орудий лезли женщины и дети — беженцы, прося нас взять их с собой. Помню, как-то на одной остановке по непролазной грязи подъехал ко мне наш бывший реалист, бравый войсковой старшина Павел Янюшкин и предложил мне взять с собою какую-то графиню — ему не на чем было ее везти.

— Возьми, Николай! Толковая баба. Будешь доволен: молодая, красивая…

Я бросился к командиру батареи Пустынникову за разрешением. Но Александр категорически запретил ее брать:

— Да ты что — бардак из батареи хочешь сделать? А что скажут казаки?..

Но вот мы и на переправе через Кубань. Бравый казачий генерал регулировал со своими молодцами движение через единственный здесь мост. Сначала пропускал воинские части — шла кавалерия, отдельные пешие казаки, а по всему берегу — до самого горизонта! — волновалось, ожидало своей очереди нагромождение тысяч повозок с беженцами. Некоторые, устав ждать, выпрягали лошадей, подняв оглобли, привешивали на них котелки, закопченные чайники и принимались за костры. Шло в безнадежный и бессрочный поход Войско Донское, побросав свои обжитые курени, имущество, стариков и старух на произвол судьбы… Были тут и снявшиеся с мест кубанцы. Казаки вели с собою коров, баранов, иногда целые стада, и все это блеяло, мычало, ржало, ругалось и ждало спасительной переправы на тот берег, словно только там было их желанное спокойствие и спасение…

Насколько мне известно, большинство беженцев отстали от армии, распылились по окрестным станицам да аулам или возвратились, скрепя сердце, с повинной домой. Нас пропустили беспрепятственно. На том берегу было все пьяным пьяно! Меня окружили знакомые казаки и наперебой принялись угощать. Совали кто кружку, кто котелок, кто четвертную бутыль. Пили

спирт из разграбленного склада в Екатеринодаре. Я, как непьющий, отказывался, тогда одна сердобольная душа подарила мне целую четверть, запечатанную, как обычно, сургучной орленой печатью. Я ее бережно довез до своей батареи и сдал вестовым с приказом хранить до торжественного случая. Случай тут же представился — приближалась Пасха. Забегая вперед, скажу, что с той четвертью у меня получился казус. Когда я поставил ее на стол и открыл, предвкушая радость офицеров, оказалось, что четверть была заполнена обыкновенной водой. Вестовые сумели каким-то им одним известным способом выкачать из бутыли спирт…

Но пока переправа. Ко мне подъехал знакомый казак и говорит:

— Николай Андреевич, а на том берегу ваш дед Иосиф Федорович с повозкой стоит. Очень хотел бы вас видеть…

Я погнал коня к мосту, собираясь вернуться и перевезти деда — увез бы его с собою, взяв на батарею. Как я любил деда — человека, который сформировал всю мою жизнь! Даже теперь, сам став стариком, в трудных ситуациях я контролирую себя его мерками: «Как бы поступил, что сказал бы дед?..»

С размаху я хотел тогда проскочить мост. Но не тут-то было: решительный генерал никого не пускал против движения. Я бросился к берегу, желая переплыть с конем через бурную здесь Кубань. Но конь сторожко упирался и не хотел идти в воду: посредине реки кружили жуткие коловерти. А дед, самое дорогое для меня существо, был в каких-то шагах от меня. Отказавшись от попытки переправиться к нему, я не терял надежды, что еще встречу его среди беженцев. Но пути отступления в гражданскую войну были неисповедимы, и я не дождался желанной встречи. Тогда мы расставались с дедом навсегда. Знай это, погнал бы я коня в жуткую Кубань…

Через несколько лет, уже будучи за границей, я узнал, что дядя Михаил умер по дороге домой от тифа, Яков погиб где-то в Сибири, а дед Осип, преследуемый, по-видимому, из-за меня и совершенно уничтоженный, через три года скоропостижно скончался в станице Клетской от разрыва сердца.

…Мы подходили к горам. Начинался сказочный край гордой красоты — незабываемый Кавказ. Был уже цветущий, веселый апрель, и, как сейчас помню, сидя где-то на краю поля, я перебирал в руках уже выметавшиеся колосья и удивлялся, что тут, в этом земном раю, так рано зреют золотые хлеба. А у нас в это время степи были покрыты пестрыми коврами лазоревых цветов, сизо-фиолетовыми степными фиалками, начинающим уже выметывать нежные усики ковылем… Куда же несло нас от

родных гнезд, зачем?..

Все труднее и труднее становились подъемы. Орудийные лошади шатались от усталости. В упряжки уже давно пошли офицерские кони, а на крутых подъемах казаки и офицеры, напрягая все силы, сами тянули за спицы грязных колес орудия, зарядные ящики. Ведь орудие для артиллериста как знамя — его нельзя бросить ни при каких условиях!

Вскоре наши части забрались на высокий перевал со странным названием «Индюк». Тут и люди и кони совершенно выбились из сил, и командир дивизиона полковник Леонов, собрав казаков, заявил, что нет никакого смысла мучить нужных нам еще лошадей и тащить дальше совершенно лишние для нас орудия. Здравый разум победил вековую традицию, и было решено сбросить все орудия в огромный провал, простирающийся у самой кромки узкой тропы, по которой тянулся наш бесконечный поток. Думаю, что у начальства не было даже карт местности, по которой мы двигались, так как вскоре уж начался легкий и длительный спуск к морю, к Туапсе. Нужно было видеть заросшие щетиной суровые лица батарейцев, когда, сняв папахи и фуражки, крестясь, они пускали орудия под откос. Пушка за пушкой летели в бездонную пропасть, и гулкое эхо замирало где-то в горах, как стон изболевшейся души. У многих навертывались слезы на глазах, но другого выхода у нас не было…

Кавказ

Я впервые был на Кавказе. Мне казалось, что нет красивее наших Донских степей с их дрофами, коврами лазоревых цветов, дурманящим, неповторимым запахом чобора и полынка, Дона с его заливными веселой полой водой займищами и высоким бездонным небом, где огромные звезды в безлунные парные ночи заставляли меня задумываться над величием мироздания и бесконечностью. И вот предо мною Кавказ… Кавказ Пушкина и Лермонтова с его Демоном и загадочной Тамарой. Боже! Какое счастье сходило на мою изломанную душу только при мысли, что я тут, что я сейчас войду в недра долин и ущелий, где гарцевал Казбич, где слагал поэмы Пушкин…

Все — и кубанская невылазная грязь, и идущие за нами по пятам красноармейцы, и давящая неопределенность будущего — все было забыто, когда, спускаясь с последнего, самого тяжелого и крутого перевала, я, пораженный и очарованный, впервые увидел в просвете между двух расходящихся гор море. Когда кто-то из казаков крикнул: «Море!» — я сначала его не увидел, но когда присмотрелся к этой необъятной убегающей шири, понял,

что это — море. Внизу, разбросанное на пригорках, в мареве насыщенного солью морского воздуха, как дивный мираж, качалось Туапсе.

И вот сюда-то, в эту неземную благодать, оставив за собою грозные перевалы кавказского предгорья, скатывались остатки Донской армии — голодные, грязные, в стоптанных сапогах и бесконечно уставшие от всех войн. Казаки рассыпались по городу, и корпус разместился по квартирам. Тут мы простояли несколько дней — чистились, приводили себя в порядок, а некоторые пытались даже купаться в море.

В городе по счастливой случайности оказался кочевой захудалый цирк. Меня сильно лихорадило, но я не хотел упустить случая побыть хоть час-два в иной обстановке и направился в цирк, большая полотняная крыша которого высилась недалеко на пригорке. Взял билет и начал смотреть джигитовку, эквилибристику, смешных клоунов, от которых я уже совершенно отвык. Рядом со мной уселся парень неопределенной национальности и начал жарко дышать на меня чесноком. Я чеснока вообще не переношу, а тут после изнурительного похода да еще с лихорадкой не мог без предельного отвращения нюхать этот отвратительный перегар — встал и, посмотрев ненавидящими глазами на это кавказское дитя, ушел.

Через несколько дней мы двинулись походным порядком дальше. Орудий не было, и батарея только формально не потеряла своего названия. На одной из остановок есаул Пустынников попросил меня съездить за вином: приближалась Пасха. Мы прошли «долину роз», так называемые царские дачи, и достигли Уч-Дере, где дивизион расквартировался на пасхальные праздники в огромном, теперь пустом, здании института благородных девиц. Отсюда с несколькими разведчиками я и заскочил в Сочи за вином. Объехав несколько домиков, мы купили пару бутылок, за которые хозяева не хотели брать деникинские «колокольчики», а просили расплачиваться донскими бумажками. «Колокольчиками» назывались добровольческие тысячерублевые бумажки желто-оранжевого цвета с изображением на одном из углов царь-колокола. У нас, донцов, были свои — синие тысячерублевки с изображением символической России в виде женщины в кокошнике и со щитом, 250-рублевки были с атаманом Платовым и так называемые «ермаки» — 100-рублевого достоинства. Почему-то именно «ермаки» вызывали доверие, хотя те и другие уже не имели цены даже обыкновенной бумаги…

Вернувшись в Уч-Дере, я разослал часть разведчиков по окрестным аулам за яйцами. Привезли много, и я с вестовыми

занялся окраской их. У нас было только две краски — фиолетовая из чернильных карандашей и желтая из луковой шелухи, красного яичка к Христову дню, как предписывала вековая русская традиция, за неимением красной краски у нас не получалось. Но зато готовилось кое-что более редкое и существенное. Один из досужих разведчиков радостно доложил мне:

— Господин сотник! Где-то в подвале хрюкает боров. Я уже обнюхал это дело со всех сторон…

Пошли к управляющему. Старый поляк сначала заявил, что ни о каком борове не знает и что это нам только показалось. Но когда вдруг послышалось пронзительное визжание свиньи, он сдался и, виновато улыбаясь, с досадой сказал:

— Проклятый, с голоду южит…

Мы уговорили поляка продать нам свинью, так как за нами, мол, идет несметное красное войско и неизвестно — купят они у него свинью или просто ограбят.

Словом, праздники мы отпраздновали лучше, чем предполагали, — было и мясо, и крашеные яйца, и вино. Не было только покоя и уверенности в своей судьбе. Ходили слухи, что 30000 кубанских казаков сдаются большевикам. Это потом подтвердилось. Но наш легендарный мамонтовский корпус, особенно офицерский состав, не мог сдаваться — слишком много мы красным насолили.

Вскоре нам сообщили, что мирный договор подписан и что выработаны определенные условия сдачи. По договору казакам была обещана милость, а офицерам… Офицеров пока собирались отделить и рассортировать в индивидуальном порядке. Батарея как на дыбы поднялась, загудела. Помню, собрались мы, комдив полковник Леонов поставил мне задачу:

— Сходите, пожалуйста, на батареи и выберите все деньги, находящиеся в денежных ящиках.

Я с неохотой отправился исполнять это щекотливое поручение. Было ясно, что в батареях что-то происходит. Когда явился к казакам и сказал, что по распоряжению командира дивизиона хочу выбрать деньги из денежного ящика, казаки зашумели и заявили, что денег не выдадут. Я не стал никого уговаривать и возвратился в свою хату.

Утром все офицеры собрались группой и сели на коней. Казаки дивизиона стояли насупившись и смотрели на нас, как волки. Они уже знали, что мы решили пробиваться в Грузию, а дивизион принимал условия сдачи. В это время командир моей батареи есаул Пустынников болел тифом, бросить командира мы не могли, и я должен был везти его на телеге. Вестовой запряг

коней в какую-то бланкарду, напоминающую дроги, есаула положили посреди этой повозки — он был в полусознательном состоянии, к нам уже присели сестры милосердия Чернова и Васса Олимпиевна, а Митрофан, мой верный вестовой, стоял у бланкарды и молчал.

— Садись, Митроша! Едем… — распорядился я.

Но он, к моему удивлению, передал мне вожжи и решительно заявил:

— Господин сотник, я никуда не поеду. Остаюсь с батареей. На его глазах навернулись слезы. Чувствовалось, что это свое решение он выстрадал… Конная группа офицеров уже двинулась по долине к Адлеровскому шоссе. Я, взяв вожжи, погнал повозку вдогонку. Помню, как казаки, сбившись в толпу, молчаливо смотрели нам вслед. Это расставание с людьми, с которыми было столько пройдено и пережито, рвало сердце… Проехав с версту-две, я вспомнил, что в суматохе что-то оставил в хате, где мы спали. Пришлось вернуться. Казаки вдруг окружили меня плотным кольцом и начали уговаривать остаться с ними. Я протестовал, ссылаясь на то, что со мною больной командир и две сестры и что красные нас могут убить. Но казаки стояли на своем:

— Да мы вас, господин сотник, никому в обиду не дадим, оставайтесь.

Стоявший около меня бравый вахмистр батареи урезонивал:

— Братцы, не надо. Не будем греха на душу брать. Кто ж его знает, как все пойдет…

Чей-то злой и отчаянный голос покрыл всех:

— Вы что же, сукины сыны, завели нас в чужие края, а теперь кидаете? Мать вашу в дыхало!..

Я еле вырвался из толпы, кинулся к повозке и с места погнал лошадей к морю, к грузинской границе. Казаки, скачущие от границы, хмуро кричали:

— Не пускают! Стоят грузинские броневики, и дорога в Грузию закрыта…

Вскоре я убедился в этом и сам. Действительно, поперек дороги стояло несколько броневиков с наведенными на нас пулеметами, а в довершение всех зол — с гор, вдоль которых бежало приморское шоссе, начали по нас стрелять зеленые. Это были банды сгруппировавшихся дезертиров, они усеивали леса прибрежных гор и били и белых, и красных.

Положение создавалось безвыходное: впереди грузинские броневики, сзади с часу на час появятся красные части, справа безбрежное и пустое море, а слева горы, с которых по нас бьют зеленые. Полная мышеловка!

Видя, что положение безнадежное, я погнал коней к Адлеру.

И вот на одном из поворотов — о, чудо! — толпа калмыков, а на небольшом расстоянии от берега три парохода. Вмешавшись в толпу, я узнал, что идет погрузка Дзюнгарского калмыцкого полка. Погрузку ведут американцы.

— Вас все равно не возьмут, господин сотник, — заявил мне пожилой калмык, щуря и без того узкие, степные глаза.

Я в недоумении спросил:

— Почему?

— А берут только нас, калмыков. Нам нельзя оставаться, у нас у всех морда шибко кадетская — каждый узнает, — горько, но в то же время гордо улыбнулся сын степей, стоя у непривычного для негр моря.

Договориться с принимающими непривычных пассажиров матросами мы не могли — никто из нас не говорил по-английски. Наконец разобрались, и мы бережно сняли с бланкарды командира и перенесли его в шлюпку. Сестры милосердия уселись около него, а когда и я попытался вскочить в шлюпку и уже поставил ногу на борт, английский матрос ударил меня веслом в грудь и сбил в воду. Видя, что меня не пускают в шлюпку, обе сестры вскочили и возмущенно принялись объяснять матросам, что без меня не поедут. Тогда матрос, по-видимому, сжалился и разрешил мне забраться в шлюпку.

Так мы попали на огромный русский пароход «Дон» и устроились на верхней палубе. А неподалеку стояли привязанные к кустам наши кони и непонимающе смотрели на происходящее. Серый, привыкший ко мне, косил на нас глазом и тихонько ржал…

Взглянув последний раз на своего четвероногого друга, я смахнул невольно набежавшую слезу и повернулся спиной к берегу. Погрузка джунгарцев окончилась, и пароходы, задымив, взяли курс на таинственный Крым, где, по слухам, еще держался лихой генерал Слащов.

Белый Крым

Вдали, в голубой дымке, замаячили очертания берега. Мы жадно всматривались в приближающийся город. Это была Феодосия, город любимого мной Айвазовского. Пароходы не задержались здесь долго и пошли вдоль побережья. Не заходя ни в Севастополь, ни в Евпаторию, высаживаемся на западном берегу Крымского полуострова в татарском селении Ак-Мечеть. Тут уже были казачьи части, каким-то образом здесь очутился и полковник Леонов, ушедший от нас на Кавказском побережье в горы.

В Крыму командование войсками принял барон Врангель, появился и Донской атаман Африкан Петрович Богаевский, лицо совершенно непопулярное среди потерявших во все веру казаков. Но Богаевский был, нужно отдать ему справедливость, очень образованным и трезво смотрящим на события человеком.

В мае на подводах нас двинули в Евпаторию, где формировались или уже стояли сформированные части. Евпатория в те давние времена представляла из себя захолустный городок. Вдоль берега торчало несколько довольно примитивных санаториев. Чуть ли не на единственной улице, бегущей вдоль берега, почти рядом стояли два ресторана — большой, с экзотическим названием «Дюльбер», и небольшое, но с претензией кафе-ресторан «Валькирия» — здесь обедали и закусывали преимущественно мы, младшие офицеры. А «Дюльбер» посещали исключительно штаб-офицеры и генералы. Тут можно было встретить «красу и гордость донской артиллерии» полковника Ковалева. Это был удивительный человек. Выше среднего роста, плечистый, с загорелым правильным лицом и внимательными карими глазами. Всегда — в бою и на походе — безукоризненно одет. На руках неизменные белые перчатки. Красив и картинен до жуткости! Понятно, до «Валькирии» Ковалев никогда не опускался. Его всегда можно было видеть только в обществе генералов. Кто не знал биографии полковника, обязательно бы подумал, что это аристократическое дитя, случайно попавшее в нашу среду. Но это не так. Он был настоящий донской казак.

Сиротой его взял какой-то дальний бедный родственник и воспитал чуть ли не в куренях с земляным полом. Откуда же те манеры, осанка Марса — кто знает…

Май 1920 года шел к концу. Однажды поступил приказ грузиться в вагоны и отправляться на узловую станцию Джанкой. И снова потянулись войсковые части, батареи, походные кухни. Как-то незаметно перешли Перекопский перешеек, не заметив его знаменитых укреплений. Собиралась 2-я Донская конная дивизия под командой генерала Калинина. Это была самая оперативная единица в армии Врангеля. Общее командование над нами имел суровый службист, коренастый, будто вырубленный из дуба, генерал Кутепов, впоследствии председатель Русского общевоинского союза за границей.

Не встречая серьезного сопротивления, врангелевская армия, а с нею и 2-я Донская конная дивизия быстро подвигались вперед, занимая все большую и большую территорию. Мы вступали уже в неотъемлемую часть мужицкого анархического царства батьки Махно.

Как-то, во время особо быстрых первых успехов, дивизия прошла с боями верст 30–40, и упоенные таким успехом штабы вырвались вперед вместе с генералом Калининым. Батарея после очень утомительных и длинных переходов расположилась на ночлег в какой-то деревушке, — кажется, это была Мартыновка. Жара даже для Крыма стояла необыкновенная. На ночь мы поснимали с себя все, оставив только подштанники. Я спал на кровати, покрытой тулупом, кишащим блохами; документы, которые всегда возил с собой, в том числе студенческие, положил под подушку. Все было тихо и предвещало спокойную ночь, но гражданская война коварна — она на каждом шагу полна всяких неожиданностей.

И вот после полуночи меня вдруг кто-то схватил за плечо и закричал:

— Господин сотник, скорее! Красные в деревне!

Что творилось на улице — страшно представить! В темноте южной ночи шла дикая рубка: лязгали клинки шашек, сверкали вспышки выстрелов, разбойничий посвист сотрясал воздух… Как оказалось позже, на нас напала красная кавалерия, остатки разрозненной группы блиновцев. Они-то и наполняли воздух свистом, чтобы во тьме отличить чужих от своих.

Выскочив на ошалевшем коне на улицу, я вмешался в густую толпу всадников. Слышны крики:

— Калединцы, ко мне! Калединцы! Ко мне!.. Казак, скачущий рядом со мной, говорит:

— Чапчиков сзывает полк.

Вдруг откуда-то из тьмы огромная масса конных, не доезжая до нас шагов сто — двести, останавливает коней.

— Что за люди? Какая часть? — кричат издалека и тут же: — А, беляки-и!.. в могилу… в гроб!.. — и вся эта смутно движущаяся масса бросается на нас. Повернув коней, в беспорядке мы уходим. В ночь летит исступленное «Ур-р-р-а…»

Потом, уже много лет спустя, в Праге я встречался с Гришей Чапчиковым — он уже был студентом русского юридического факультета. Припомнили тот эпизод.

— Быль молодцу не в укор, — заметил Григорий Иванович. — Всякое бывало, доктор…

Наши части заняли Мелитополь, где обосновались штабы, и строгий порядок всюду, по-прежнему, удерживал грозный Кутепов. 2-я Донская металась по всей Северной Таврии с переменным боевым счастьем. То она появлялась под Каховкой, то под Мариуполем, то доходила даже до захолустного городка Александровска (ныне Запорожье). Были заняты Пологи, Нижние и Верхние Серогозы, Большой Токмак, где стоял полевой

госпиталь, в котором я одно время лежал. Как-то ночью на Токмак налетела красная конница. Мы, больные, в одном белье повыскакивали в окна и на спешно мобилизованных повозках рванули по ночной степи куда глаза глядят. Тут я еще раз убедился, что самое безопасное место — это боевая часть, батарея, куда я и поспешил вернуться.

В разгар крымской эпопеи в полях Северной Таврии наши окружили и порубили знаменитую дивизию Дмитрия Жлобы. Поражение было полное, но Жлобу не удалось поймать — он ушел будто бы на пулеметной тачанке.

Но вот Спасское. Деревушка млела от начинающейся жары, было тихо, ничто не предвещало ничего плохого. И вдруг крик:

— Братцы! Красные! Гляди по буграм обходят…

Поднялась несусветная суматоха, как это всегда бывает в подобных случаях. Оставив на месте обоз, я взял пушку в передки, вывел ее к ветряку, где уже сгрудились казаки, отбившиеся от своих частей. Тут же стояла пулеметная тачанка с пулеметчиком и сестрой милосердия. По гребню, на другой стороне Спасского, клубилась пыль — это, сверкая обнаженными клинками, мчались на нас красные конники. Они то исчезали за гребнем, то появлялись снова. Вахмистр крикнул мне:

— Господин сотник! Скорее на соединение с дивизией!..

— Орудие к бою! Не уйдем! Порубят! — только успел я ответить, и тут же мы врезали по красным, которые на бешеном скаку уже начинали спускаться в село. Среди всадников противника поднялся переполох: они, видимо, не ожидали встретить артиллерию. Часть их, вздыбив коней, повернула обратно. Но откуда-то сбоку я заметил в бинокль новую волну конных. Перевалив через гребень, они спускались с горы.

Переношу огонь на них. Тогда первая группа, опомнившись, снова ринулась в нашу сторону. Бью шрапнелью. Но разве одним орудием отобьешь атаку… Казаки, человек двадцать пять, сгрудившись у орудия, советуют мне уходить вместе с ними напрямик, к виднеющимся вдали буграм, куда утром ушла дивизия. Оттуда слышится далекий гул артиллерийской стрельбы. Видя, что лавы красных выскакивают по гребням со всех сторон, а часть, отделившись, стремится нас окружить — отрезать путь к отступлению, я приказываю взять орудие в передки, и мы спешно уходим по проселочной дороге к какому-то селению. Группа казаков на горячих конях, покрутившись минуту около меня, пошла карьером к далеким буграм, где предположительно вела бой наша дивизия. Оказавшись в какой-то немецкой колонии один, я с минуту раздумывал, что делать. Наконец, выбрав узкую боковую улочку между огородами, я

погнал орудие по широко открытой степи. Идем на предельной скорости. Орудийные лошади уже в мыле. Но вот сзади за нами вываливается красная лава — красные курсанты и распластавшиеся в бешеном намете кони. Молнией мелькает мысль: от этих не уйдем! Прошу пулеметчика дать очередь, но у него заело ленту в пулемете, и он судорожно пытается ее выпростать. Ясно, что пулемет неисправен. Решаю рубить постромки и уходить без орудия. Но в этот момент слышу характерный визг трехдюймового снаряда, посылаемого справа. Слышится разрыв шрапнели над красными конниками, я оглядываюсь и вижу в их лаве замешательство: кони становятся на дыбы, смятые ряды курсантов останавливаются и вскоре исчезают за линией горизонта. Слава тебе, Господи! Пронесло! Снимаю фуражку и крещусь.

Оказалось, что одна из батарей нашего дивизиона стояла на отдаленных буграх и кто-то из офицеров заметил в бинокль одинокое орудие, преследуемое конницей. Это был хорунжий, мой дружок. Офицеры, видевшие наше отступление, долго смеялись:

— Ну что, Николай, задали тебе перцу?.. Смотри, больше не скрывайся по обозам. Не будь хорунжего — порубили бы вас всех. С красными курсантами шутки плохи!..

Кстати, с нашим обозом в Спасском ничего не случилось. Он отсиделся в деревне. Но по дороге мы наткнулись на груду порубленных красными курсантами тех казаков, которые были со мной под ветряком, а потом пошли на соединение с дивизией напрямик…

Шла уже глубокая осень. Наступили холода. Задул ледяной ветер. На душе было тяжко. Настроение падало при мысли, что зиму придется проводить в Крыму, а не дома в родных станицах. И как гром среди ясного неба — весть, что наша армия спешно оставляет Таврию и валом валит к Перекопу. Восхваляемые неприступные укрепления не выдерживают натиска красных. Говорили, что Турецкий вал уже взят, что ледяной ветер обнажил десятилетиями не замерзавший Сиваш и что атака противника именно на этом незащищенном участке может помочь красным ворваться в Крым. Наши обозы, лазарет, совершенно дезориентированные, метались, как в страшном кошмаре, не зная, что предпринять. Ко мне из обозной канцелярии прибежал наш делопроизводитель Александр Васильевич Бут, и мы решили с ним запрячь наших коней в одну из обозных повозок и спешно идти в центр полуострова. О Перекопе нельзя было и думать — там, по слухам, шли лютые бои, творилось что-то невообразимое. Мы метнулись к Геническу, на Арбатскую стрелку, которая вела в

Крым. По дороге попадались обмороженные люди, и негде было приткнуться, чтобы согреться. Узкая Арбатская стрелка кое-где покрылась ледяной водой, в лужицах уже хрустел ледок, а по обеим сторонам паршивой песчано-каменистой дороги набегали мутные волны Гнилого моря. За всю дорогу по Стрелке нам ни разу не удалось попасть под крышу. Люди стали злы, хмуры, дерзки.

Стрелку, протянувшуюся верст на 100–120, мы прошли довольно быстро. Выйдя в Крым, взяли направление на Симферополь, где надеялись получить сведения о положении на фронте и, может быть, о расположении нашего артиллерийского дивизиона, который, по слухам, уже был в Крыму. Потянулись проселочными дорогами по татарским деревушкам, где трудно было договориться по-русски. И вот, не доходя до Симферополя, совершенно случайно встретили нашу батарею у речки Салгир. Батарейцы шли беспорядочной толпой, примолкшие, хмурые. Орудий не было. Оказывается, на Перекопе пришлось бросить уже никому не нужные пушки. Как видно, разгром был полный.

Артиллеристы должны были грузиться на пароходы в Керченском порту. Некоторые части шли от Джанкоя и Симферополя почти безостановочно на Севастополь, к Ялте. Нам предстоял наиболее долгий путь — в Керчь. Опять прошли через Старый Крым, разбросанный среди бугров. По дорогам во все стороны скакали казаки и предлагали чудесные крымские яблоки. Где-то, вероятно, ребята разграбили склады, но нам было не до яблок. Было страшно, что нас отрежут на Арбатской стрелке. Тогда конец — рубили интернационалисты хлестко, наотмашь и, разгорячившись погоней, не брали в плен никого…

Мы входили на Керченский полуостров, самое опасное место после Перекопа. До Керчи оставалось около ста верст. Офицеры откуда-то получили сведение, что Врангель заявил о полной готовности к эвакуации. Твердили, что пароходы все мобилизованы и ни один человек не будет оставлен. Но какой же нужен тоннаж?.. Ведь кроме войска движется масса гражданского населения с повозками, нагруженными всяким скарбом. Многие уверены, что на пароходы будут взяты их объемистые чемоданы, корзины, сундуки. Некоторые везут даже собачек. Но куда же нас повезут? Опять на Кавказ, в Грузию?.. Ни на секунду не появляется мысль, что за границу… в Турцию… навсегда…

Под вечер, не помню, какого уже дня нечеловеческого гона, вдали замелькали одинокие огоньки. Что это? Неужели Керчь?.. Да, это была Керчь, затянутая изморозью, или морским мокрым туманом. Утром, явившись на набережную, мы увидели несколько пароходов, заполненных людьми. В полной безнадежности

толкались казаки по пристани и вдруг в сторонке заметили небольшое суденышко. На его низкой палубе никого не было! И вот мы бросаемся к этому последнему убежищу. Из подобия капитанской рубки навстречу выходит молодой моряк, по всей вероятности, капитан этого суденышка. Размахивая руками, он кричит:

— Да вы что! Куда? Да это же пароход каботажного плавания! Пшеницу да селедку вдоль берега возим… Куда же вы лезете? Мы все равно никуда не пойдем!..

Но казаки продолжают прыгать на эту жалкую посудину. Тогда отчаявшийся капитан, видя, что не сможет остановить потока людей, просит:

— Братцы, мы же из порта не выйдем, утонем — время-то самое штормовое… Мы же каботажные…

Кто-то, не понимая морской терминологии, зло резюмирует:

— Я тебе, так твою в душу, дам саботажное! Сами видим, что саботажное! Потонем?.. Да нам все равно, где погибать. Разводи пары, туды твою мать! Краснюкам хочешь оставить? Разводи-и-и! А то, вот, муздыкну из этого вот! — и казак показывает ошалевшему капитану трофейный маузер. Того как ветром сдуло…

На возвышении посреди палубы, у самой трубы, я заметил вестового Петра Абакумова. Он был в бурке, на коленях у него был большой кожаный чемодан и еще какие-то вещи. Увидя меня, он крикнул:

— Господин сотник! Лезьте сюда — тут теплее будет. У трубы-то оно вернее…

Но меня лихорадило, поднимался жар, и я отказался лезть к Петру, который продолжал меня уговаривать:

— Лезьте! Отсель виднее чужие края. Местечко освобожу.

Я любил этого шустрого, ни в какой обстановке не теряющегося пожилого казака. Дома он потерял все и вот теперь, сидя у трубы, шутил и устраивался в дальнюю, никому из нас не известную дорогу. К нему я все же не пошел. Пробираясь с величайшим трудом между казаками, забившими палубу, как селедки в бочке, я спустился в темный трюм, где тоже было полно людей. В трюме была насыпана пшеница и, как оказалось потом, стояли бочки с керченской сельдью и мешки с сахарным песком. Капитан оказался прав — судно действительно развозило по прибрежным портам и селеньям продукты.

Где-то вдали постреливали. Некоторые пароходы, густо дымя, начали выходить на рейд, в неизвестную даль. Мы еще не развели пары как следует и стояли, касаясь бортом низкой пристани. Но по берегу еще металась густая толпа не успевших попасть на

пароходы людей. Я, найдя в трюме свободный уголок, сложил там свои незатейливые вещички и вылез из темной духоты на палубу. Да, собственно говоря, вещичек-то у меня было в обрез: брезентовое английское ведро для пойки коня, а в нем жалкое бельишко — вот и все, с чем я оставлял свою Родину навсегда. Карманы мои были совершенно пусты. Лежала там пара бумажных, никому не нужных кредиток — «ермаки», деникинские «колокольчики». На поясе моего добротного домашнего полушубка на козьем меху с серой оторочкой из бараньей смушки висела кобура с наганом, украшенная серебряным полумесяцем, да на шее болтался ненужный теперь и мешающий полевой «Цейс». Правда, в карман полушубка был засунут футляр с серебряным столовым прибором. Вот и все, если не считать еще тоски, которую я навсегда увозил из милой моему сердцу России…

В Турцию

Куда нам предстояло плыть? Да, наверное, в Турцию. В страну, с которой веками воевали наши деды и прадеды. Сзади, на последнем пятачке русской земли, победившая Красная Армия, под ногами зыбкая палуба, впереди неласковое Черное море… Выяснилось, что пойдем под французским флагом. Над нами простирали свою державную руку французы. В памяти вставала Восточная Пруссия, где, спасая Францию, мы положили чуть ли не целую армию и где, не перенеся позора, застрелился наш бывший Донской атаман Самсонов.

Выйдя на забитую людьми палубу, я снова услышал:

— Господин сотник! Да идите же сюда — тут тепло. Оглянувшись, я увидел Петра Абакумова. Он сидел у трубы и что-то уплетал за обе щеки. Я пролез к нему. Он открыл свой добротный чемодан и показал содержимое. Внутри было много колец чудесной домашней колбасы, куски доброго сала, хлеб.

— Откуда это у тебя, Петя? Где ты достал такое богатство? — спросил я, сглатывая слюну.

— Где? А вот где… — характерным жестом Петр показал, что все это он с лямзил в Керчи. — До самой Турции хватит…

Петр отрезал мне королевский кусок чудесной колбасы. Взглянув на тихо уходящий берег, я увидел брошенных нами коней, которые смотрели на уходящие пароходы и, подняв головы, тихонько ржали. Вон несколько из них, войдя в воду, поплыли за нами, и один казак, вероятно, узнав своего коня, судорожно схватил винтовку. Перекрестясь, он начал стрелять в него, но пули летели мимо, казак не выдержал, махнул рукой и

скрылся в трюме.

Всю дорогу в этом темном, пахнущем мышами и пшеницей трюме провел и я. Мне нездоровилось — ведь на пароход-то я попал прямо из госпиталя. Страшно хотелось пить. Жажда мучила так, что пили морскую воду, доставая ее через борт буквально руками и сдабривая непереносимо противный вкус ее сахарным песком. Пресной воды выдавали по стакану в день. Но скоро запасы ее кончились, и мы пили морскую воду, заедая ее селедкой. Это был тоже один из кругов дантова ада, который нам предстояло пройти. Сколько длилось кошмарное странствование через бурное Черное море до Анатолийских берегов — неделю или больше — никто не знал…

Но вот на горизонте появилась чуть заметная в утреннем тумане голубая полоска. Это была Турция. Помню, тогда налетела вдруг черная туча и полил проливной дождь. Вся палуба пришла в движение. Умирающие от нестерпимой жажды люди быстро начали вытаскивать грязные заплеванные брезенты, бережно натягивали их над головами и по желобкам пили падавшую с неба пресную влагу. Ах, как вкусна была та вода! С тех пор у меня осталась неистребимая любовь и уважение к этому благу природы — простой пресной воде, которую я всю жизнь предпочитал всем винам и самым современным освежительным напиткам.

Ливень шел довольно долго, так что люди, напившись всласть, повеселели и уже бодрее смотрели на приближающуюся полоску спасительной земли. Вот наш пароходишко вошел в узкий Босфорский пролив. По обеим сторонам потянулись зеленые холмы с многочисленными домиками, окруженными кипарисами и пирамидальными тополями. И вот мы на рейде Золотого Рога. Здесь масса судов самого разнокалиберного тоннажа. Все пароходы забиты беженцами и солдатами. Между судами снуют быстрые лодчонки турецких торговцев, наполненные всевозможной всячиной, от которой нельзя оторвать голодные глаза. Тут и связки аппетитного инжира, и апельсины, и белые караваи пышного хлеба, вкус которого мы давно забыли, и горки коробок с сардинами, маслянистые финики, и даже бутылки с коньяком. Население судов и лодочники ведут бойкую торговлю, но, как выясняется, наши обесцененные деньги никто не берет. Узнаем, что у турок особенно котируется наше оружие. И с бортов пароходов спускается на поясах и веревках все огнестрельное, колющее, режущее. Турки бешено торгуются за каждую связку инжира. У меня, кроме нагана в сафьяновой кобуре и серебряного столового прибора в кожаном футляре, ничего не было. Так что, произведя в уме несложный расчет, я

решил продать тот наган и прибор. Оставался полевой бинокль. После долгого, упорного торга — уж больно красива была кобура с серебряным полумесяцем из кавказского серебра — турок не выдержал, и я вытащил на борт четыре турецкие лиры. Это ли не богатство! Фантазия моя заработала вовсю. Но я был молод, несведущ и, по-видимому, непроходимо глуп. Через полчаса я обменял половину своих лир на деникинские деньги и… стал миллионером! Получив огромную сумму, я совершенно потерял спокойствие. Появился страх, что меня обворуют, когда я буду спать, но никто тех денег не украл, я довез их до Чехословакии, где украшал ими стены своей скромной студенческой комнаты.

Вдали от нас, на рейде, посреди Золотого Рога, стояла громада «Вальдек-Руссо». Как-то от него отделился моторный бот и направился к нам.

— Эй, на «Павле»! Давай пять казаков и переводчика.

— Куда?

— На «Вальдек» за продуктами…

По палубе волной пролетел шепот. Где переводчик? Нет переводчика. Тогда, будто меня что-то осенило, кричу:

— Есть!

— Идите в лодку!

И вот, помня из реального училища пару необходимейших французских фраз, я сижу в боте, и на нас надвигается сиренево-серая громада «Вальдек-Руссо». Вбежав на палубу первым, я ищу кран питьевой воды и жадно глотаю неимоверно вкусную холодную воду. Вокруг меня толпятся казаки и, перекрестясь, пьют, крякают и снова пьют, не отрываясь, эту долгожданную воду. Французские матросы стоят вокруг нас и недоуменно пересмеиваются. Им непонятно, почему русские пьют воду, когда рядом бочки пинара — дешевого красного вина, без которого рядовой француз не представляет жизни.

Мы идем за продуктами. Паек на человека не слишком обилен. Вот суточная норма:

Хлеб или мука……. 500 г;

Консервы — обычно из запасов армии. 200 г;

Картофель……. 300 г;

Растительный жир……. 20 г;

Соль…….. 20 г;

Чай…… 4 г;

Сахарный песок…… 30 г;

Сушеные овощи…… 25 г.

Это приблизительно 2000 калорий на день, — конечно, негусто.

Ведь нормальный человеческий организм требует минимум

3000 калорий. Нам недодавали 1000 калорий в день, и, таким образом, лихому казачеству России предстояло медленное истощение.

Французские матросы, видя голодных, грязных, измученных русских, предложили каждому из нас сверх нормы по целому хлебу, и мы тут же, запивая водой, покончили с ним. Везти на «Павла» эту милостыню было нельзя — мы могли бы лишиться законного пайка.

Вскоре «Павел» снялся с якоря и пошел на Принцевы острова, разбросанные в Мраморном море недалеко от Константинополя. Казаки недоумевали — куда нас везут? Нам объяснили, что нас высадят на одном из островов, где будут отвшивливать и мыть в бане, которой ведают американцы. И вот «Павел» причалил к живописной пристани холмистого острова, покрытого чудесной растительностью. Несмотря на ноябрь, стояла чудесная, теплая погода. Мы с радостью высыпали на берег, предвкушая неописуемое удовольствие — помыться в обещанной бане. Но тут стало известно, что по каким-то причинам бани не будет, и нам предложили бить вшей вручную, на воздухе. Станичники не унывали и, тихо матерясь в усы, принялись за работу.

Потом нас снова грузят на «Павла» и собираются куда-то везти. Помню, казаки говорили, что отправят на какой-то «Ломонос», где одни голые скалы да истошно ревущие от жары и скуки ишаки. Сведения оказались правильными. Нас действительно повезли на остров Лемнос, заброшенный в Эгейском море. Тут в первую мировую войну была расположена морская база англичан, отсюда английское адмиралтейство руководило всеми операциями против Дарданелл. А в доисторические времена Лемнос населяли фракийские разбойники, промышлявшие пиратством и грабежом соседних островов. Тут же недалеко был и остров Самос со своими знаменитыми виноградниками.

После разгрузки в наш дивизион прикомандировали группу молодых, только что произведенных в офицеры мальчишек. Двух сдали мне на поруки с приказом, чтобы я их отесал и выучил всем премудростям офицерской среды. Нам, на троих, выдали довольно хорошую палатку «Марабу», что в условиях лагеря было почти счастьем. Фамилии этих ребят я не помню, они были удивительно симпатичные, лет по восемнадцати, и думали, кажется, только о еде. Но общего котла или какой-либо столовой в лагере не оказалось, пищу готовили индивидуально, сбившись в компании по 5–7 человек. При этом единственным топливом служила очень распространенная на Лемносе сухая колючка — трава, которую приходилось собирать вдали от лагеря, подрубая

ее под корень казачьими шашками. Эта колючая трава горела, как порох, и для варки обеда ее нужно было собирать целый день. Ну, а весь обед получался только из одного супа, который мы варили в двадцатилитровой консервной банке. На 20 литров воды бросали консервы из говядины или буйвола, несколько картошек, немного сухих овощей, горсть соли, а иногда и окаменевшую фасоль. И все это — на целый день. Мои мальчишки съедали сразу же по 4–5 военных котелков такой бурды, потом, раздувшись, отпускали пояса и грелись на солнышке. Никакой военной муштрой с ними я не занимался.

При приезде на Лемнос меня ни на минуту не оставляла упорная мысль смыться из этой пустыни и продолжить учебу или устроиться на материке рабочим. Кто-то привез мне из Константинополя грамматику французского языка Малкиеля, и я упорно начал заниматься, научился даже составлять письма. В лагере оказалось несколько бывших студентов, и, создав совершенно нелегально подобие студенческого союза, мы начали писать письма то в Сорбонну, то в Прагу — с просьбой принять нас на учебу. Попытки были, конечно, наивны, но не сидеть же сложа руки.

И вот в лагере прошел слух и, кажется, даже появилось объявление военного губернатора острова генерала Бруссо, что при Оккупационном корпусе в Константинополе открывается школа сержантов Иностранного легиона, куда принимаются офицеры, преимущественно артиллеристы, хоть немного владеющие французским языком. Я решил записаться в эту школу. Конечно, у меня и в мыслях не было попасть на убой в Африку. Думал так: запишусь, школа в Константинополе, откуда обещают перевезти во Францию. Значит, попаду на материк — уйду с этого проклятого острова, а там много широких дорог!

Словом, вычистив до блеска сапоги, одев темно-синие шаровары с лампасами и гимнастерку, я отправился в штаб генерала Бруссо. Его канцелярия помещалась в деревянных бараках, оставшихся от Галлиполийской базы.

Вхожу в переднюю. Никого. Осторожно стучу в дверь и, получив разрешение, оказываюсь перед человеком средних лет, на его плечах генеральские погоны французской армии. Это генерал Бруссо — военный губернатор острова Лемнос. Щелкнув каблуками и отдав положенную честь, начинаю подыскивать французские слова и объяснять, зачем пришел, при этом потею, краснею от смущения за свои фразы. Но вижу, что Бруссо отлично понял цель моего визита. Еще бы! Он вдруг на прекрасном русском языке спрашивает:

— Скажите, господин офицер, а что заставляет вас идти на

столь тяжелую службу, как служба у нас в легионе?

Я всеми силами стараюсь понравиться генералу и заявляю:

— Ваше превосходительство! Я — донской казак. А мы, казаки, не можем жить без войны! Разве это жизнь тут, на острове? Никакие трудности военной службы после того, что мы пережили, я не считаю тяжелыми, и буду счастлив, если вы примете меня в число сержантов.

Клюнуло. Я был принят и сейчас же отправился в канцелярию дивизиона заявить об этом. Нужно было списаться с довольствия, получить послужной список и аттестаты о двух моих убитых конях. Получив документы, я переселился в одну из двух палаток, которые нам французы дали с расчетом на 50 человек. Тут было просторно и очень удобно. Затем французское начальство приставило к нам черных сержантов, которые ежедневно обучали нас перебежкам, ползанию на брюхе, пулеметному делу. Было странным видеть, как казачьи офицеры послушно ползали под гортанную команду губастых черномазых марроканцев. Но выхода не было.

В школу кроме меня попали Глазуновский, Веселовский, Пустынников — мой бывший командир батареи. Тут же очутились и «пся крев» Ванькович, и «зуав» Гордеев. Имена остальных стерло время.

Однажды, часов в 10 утра, когда мы проходили муштру под командой африканцев, из-за бугра, где стояли наши палатки, повалил дым. Мы кинулись туда. Но палатки уже вовсю горели, а тушить было нечем. Сгорело все. Чудом уцелели мои новые офицерские шаровары с лампасами да парадная гимнастерка. Мне везло! Казачья форма впоследствии пригодилась и сослужила прекрасную службу.

Вскоре французы, видя недружелюбное отношение к нам обитателей лагеря, решили перевезти всю школу в Константинополь. Никто нас не провожал…

А мы радовались, что страшный этап наших мытарств позади и, думаю, каждый рассчитывал найти возможность и уйти от французов в широкие европейские просторы. На пристани Серкиджи нас высаживают. Это азиатская часть города, какой-то привесок Стамбула. Тут здание французской морской базы, масса деревянных бараков, в которых днем и ночью мечутся легионы поджарых портовых крыс. Здесь нам предстояло жить. Помню, много низких деревянных нар, как в какой-нибудь сибирской тюрьме, большой дощатый стол, несколько скамеек. В соседних бараках ютятся греки, турки, как-то попавшие сюда казаки нашей батареи с бравым вахмистром. Они живут своей замкнутой жизнью, и мы с ними не общаемся, хотя при встречах дружески

здороваемся и хлопаем друг друга по плечам.

Но вот странно, по высадке на берег нас забыли. Французы исчезли и, по-видимому, потеряли к нам всяческий интерес. Нас уже и не обучают, и не кормят.

И мы принялись искать работу. В бараках собирались только на ночь, а целыми днями бродили по экзотическому городу и предлагали свои руки. Чего только не испробовал я в том сказочном городе. Начал с самого тяжелого — пошел вместе с десятком наших офицеров работать на стройках Стамбула. Удалось устроиться чернорабочими. Никакой, даже примитивной, механизации на стройке не было, кроме обычной лебедки, и вот вручную мы поднимаем 50-килограммовые мешки с песком или цементом на шестой этаж. Работа обычно длилась двенадцать часов, платили за это довольно щедро — по одной турецкой лире в день. Недели через три, видя* что мы работаем, как каторжники, зарплату нам повысили на уровень профессиональных рабочих, то есть платили уже по полторы лиры за смену. Кстати, за две лиры можно было купить на базаре штаны. Вообще начало было недурно. Но руки… От многочасового таскания веревок по блоку кожа на ладонях превращалась в сплошные волдыри, которые лопались, кровоточили. Мы ухитрялись из старых чулок шить варежки, но и это не помогало. Тогда нам разрешили таскать доски, кирпичи или жидкую мальту в остроугольном корыте. Острый край корыта резал плечо, но мы наловчились подкладывать под него кусок мешка. И все же после той работы у меня на всю жизнь на правом плече осталась набитая шишка величиной с детский кулак.

Питались мы довольно скудно. Утром кусок хлеба да чай. В обед обыкновенно черные маслины с хлебом, иногда халва. Бывало, что мы роскошествовали — покупали миску вареной фасоли в красноватом маслянистом соусе. Это было чертовски вкусно! Присмотревшись, мы увидели, что существует еще много более легких и лучше оплачиваемых профессий. И вот у какого-то предпринимателя, который под мостом в трущобах Стамбула начал печь румяные пончики, мы нанялись в продавцы. Предприниматель выдавал каждому из нас огромный лоток с ремнем на шею и раскладывал на нем около сотни прелестных пончиков. Продав одну порцию, можно было прийти за второй, и при известной расторопности в день удавалось заработать более двух лир. Особенно хорошими покупателями были почти всегда пьяные американские матросы. Они обычно ходили парами и горланили песни.

Как-то иду по улице, только что получив полную порцию товара. На другой стороне тротуара — два американских матроса.

Знак пальцем. Подхожу. Один из матросов, расставив ноги, берет с лотка пончик, разламывает, нюхает, крутит головой и бросает его через плечо. Берет второй. Мнет его и, сплюнув, тоже бросает. Потом отступив шаг назад, с размаху бьет носком ботинка в дно лотка, и мои пончики летят, как вспугнутые воробьи, во все стороны. Я холодею. Но матрос бросает мне на пустой лоток 10 лир и, глупо улыбаясь, идет с приятелем дальше…

Очень выгодно было работать на одной из морских баз американцев. Платили они 15 лир в сутки. Желающих попасть к ним было, конечно, много, так что моряки придумали весьма своеобразный подбор кадров. На базе был широкий двор с массой построек. Большие высокие ворота там запирались, и с раннего утра, еще до восхода солнца, около них собиралась толпа человек в сто, а принимали почему-то 10–15 работников.

Происходило это так. В семь часов утра распахивались ворота и несколько американских матросов, держа в руках огромные брандспойты, направляли прямо в толпу ужасающей силы струю воды. Толпа шарахалась из стороны в сторону, люди кричали, скользили, падали, стараясь ворваться в распахнутые ворота, и только пара счастливчиков успевала пробиться на желанную базу. Остальные — мокрые, голодные, — чертыхаясь, уходили искать иную работу.

Мне редко удавалось попадать на ту базу. И одно время я продавал одеяла на старом турецком базаре, а потом вспомнил, как мои сестры делали чудесные бумажные цветы из гофрированной бумаги, и работа закипела. Изящно сделанная роза ценилась в два с половиной пиастра. За день мы выручали по полторы — две лиры, но примерно через месяц на базаре стали появляться конкуренты, заработки, естественно, упали. Но на некоторое время спас случай.

Как-то вечером, доделав последний букет, я увидел, что у меня осталось несколько кусков неиспользованной разноцветной бумаги. Я накрутил несколько крупных цветов, напоминающих маки, у которых получились разноцветные лепестки — красный, желтый, синий… Утром встречаю двух юных турчанок. Обе под чадрами. Заметив меня, они подошли и, сразу же схватив по дикому разноцветному цветку, защебетали: «Кач пара? Кач пара?» То есть сколько стоит? Я сообразил, что дикие цветы пришлись по вкусу турчанкам, и прибавил: «Беш груш», то есть пять пиастров, а это вдвойне дороже розочек. Турчанки замахали руками, что-то щебетали. Я понял, что они требовали еще таких же цветов. Распродав розы, я явился в барак и рассказал ребятам о творческой находке. К сожалению, вскоре появились плагиаторы, заработки наши упали, и мы вынуждены были прекратить

цветочное производство.

Нас ждала разгрузка брикетной и угольной пыли из барж, которые стояли у причала Золотого Рога. Турки отказывались от этой работы. Ядовитая пыль нестерпимо резала глаза, по черным от угля лицам неуемным потоком текли слезы. Потом глаза начинали краснеть, гноиться. Но мы таскали эту проклятую пыль, пока не очищали баржу полностью. Турки обычно не соглашались платить за работу договорную сумму. Они сбегались со всего квартала и разгоняли палками нас с криком: «Урус гайда! Шайтан!» Жаловаться здесь было некому. Сопротивляться бесполезно. Мы были люди без Родины, вне закона…

В Прагу

В Константинополе на улице Нишанташ образовался и вовсю заработал Русский студенческий союз во главе с так называемой Русской академической группой. Тут были профессора и доценты из многих наших университетов и институтов. Они вели постоянные переговоры с правительствами многих стран, желая возобновить образование русской молодежи, из которой состоял по сути весь офицерский состав Донской и Добровольческой армий. Кадровых, старых офицеров, выехавших из России, можно было пересчитать по пальцам.

Из записавшихся в Иностранный легион Володю Веселовского и Николая Глазуновского сразу же приняли в число студентов, желающих продолжить образование: у них сохранились подлинники их студенческих билетов и зачетные книжки. Со мной обстояло дело хуже. Мои-то студенческие документы бесследно исчезли еще в Крыму, в Северной Таврии, в тот неожиданный ночной налет на наши части «блиновцев». Я решил тогда обратиться в русское консульство. Там всегда гудела толпа оборванных русских беженцев — казаков, солдат, офицеров. Паспорт в консульстве можно было получить очень легко. Достаточно было иметь хоть какое-нибудь удостоверение личности и маленькую фотографию, которую вам за пару пиастров изготовлял тут же уличный фотограф. Мой бывший комбат Саша Пустынников на клочке бумаги, вырванной из тетради, написал мне чернильным карандашом удостоверение, пришлепнул печатью — и документ был готов. Подав бумажонку и фотографию в окошечко, я за пару минут получил российский паспорт на двух языках — русском и французском.

В студенческий союз я был принят пока условно, мне предстояло сдавать какой-то коллоквиум или экзамен при академической группе. И вот вскоре пошли упорные слухи, что

этой группе удалось добиться отправки части студентов в европейские страны, главным образом в Чехословакию — государство совершенно новое и никому из нас не известное. Володя Веселовский сказал, что те, у кого нет документов, должны сдавать экзамены.

На следующий день я стою перед комиссией по гуманитарной секции и докладываю генералу Юревичу:

— Ваше превосходительство! Желаю поступить на медицинский факультет.

— А вы в каком учебном заведении были?

— Был принят в Военно-медицинскую академию в Петербурге, ваше превосходительство! Окончил первый курс Императорского Лесного института там же, а потом, по окончании Константиновского артиллерийского училища, ушел добровольцем на фронт.

— А кто был начальником академии в ваше время? — спрашивает Юревич.

— Генерал-майор Макавеев. Зоологию преподавал Холодковский, химию — профессор Бирон.

Тогда Юревич, обращаясь к сидящему рядом доценту Шкафу, говорит:

— Проэкзаменуйте студента. И Шкаф начал:

— Так, вы слушали курс зоологии у профессора Холодковского? Знаменитый профессор. Так вот… скажите, пожалуйста, о характерной особенности кровообращения рыб.

Я задумываюсь на минуту, перед глазами у меня встает лаборатория Лесного института, где я в 1915-м вскрывал на практических занятиях окуня и вычерчивал цветными карандашами все детали организма этой рыбы, и начинаю рассказывать:

— Перка флювиатилис — речной окунь… имеет двухкамерное сердце и так называемый венозный синус Кровь…

Тут вмешивается прислушивающийся к экзамену Юревич:

— Да вы, собственно говоря, на какой курс хотите поступить?

— На первый, ваше превосходительство!

— Так что же это вы, господин доцент, такие вещи у студента спрашиваете? — Потом, подумав: — Скажите, а какие половые клетки вы знаете у человека?

Вопрос не самый сложный, и я бойко отвечаю:

— Мужская половая клетка, служащая для размножения вида, называется сперматозоидом, а женская — оосферой или овулум. При коопуляции они дают зародыш, так называемую зиготу…

— Хорошо! — обрывает Юревич. — А что больше — сперматозоид или яйцо, или, как вы говорите, овулум?

Я настораживаюсь. Мысли бегут бурным потоком. Думаю чисто по-казачьи: «Как же это так — не может быть бабье яйцо больше казачьего сперматозоида…» И, вопреки всякой логике, уверенно отвечаю:

— Конечно, сперматозоид, господин доцент! Юревич и Шкаф смеются, и один из них говорит:

— Да как же может большее тело, как вы утверждаете, сперматозоид, внедриться в меньшее — яйцо?..

Я краснею и пытаюсь оправдаться:

— Пять лет книгу в руках не держал, господин профессор… Юревич благосклонно смотрит на меня, что-то записывает и добавляет:

— Ну, там, в Праге, и книги будут, и все станет на свои места. Можете идти!

Через неделю или две вечером в мой барак являются неразлучные Веселовский и Глазуновский. Увидев меня — а я только что вернулся со стройки, — весело объявляют:

— Ну, Николай, ставь магарыч! В Прагу едешь!..

Прага… Мысли бегут буйной вереницей, но, к своему стыду, я ничего не могу извлечь путного из моей памяти ни о Праге, ни о Чехословакии. Помню, что был Ян Гус, какой-то реформатор, сожженный на костре, кажется, в Констанце. Но за что, когда? Мелькает легендарное имя Яна Жижки. Но с кем он воевал — для меня совершенно темно…

И вдруг, как молния, жиганула откуда-то примчавшаяся мысль: «Не радуйся! В списки ты попал по недоразумению — ведь ты без документов, а вот Глазуновский и Веселовский, имеющие все подлинные студенческие документы и зачетные книжки, в Прагу не едут — их в списках нет!..»

С утра сразу же еду в студенческий союз. Там, как на башне Вавилонской! Иду прямо в канцелярию и там спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, что это за списки висят в коридоре?

— Да там же написано, что это группа студентов, отправляющихся в Прагу.

— Но в списках допущена ошибка. Моя фамилия напечатана, а у меня же нет никаких документов!

— Ваша фамилия? — спрашивают меня. Я называю и слышу чуть раздражительное:

— Но вы включены в списки по личному приказанию профессора Юревича! Вы блестяще сдали экзамен. Смотрите!

И я читаю: «Включить в списки для отправки в Пражский университет на медицинский факультет. Подпись: профессор Юревич».

Много горя и радости видел я в своей мозаичной жизни — ив

двух войнах, опустошивших душу, и в страшном Новочеркасском аду, и в Лемносском лагере, но могу сказать с уверенностью, что этот момент, когда я воочию убедился в осуществлении заветной, еще недавно недосягаемой мечты, был, пожалуй, самым сильным и радостным…

Отправка в Прагу затягивалась. Но вот выехала первая группа, и нам сообщили, что каждый отъезжающий должен внести за дорогу восемь турецких лир. Где их взять, когда перебиваешься с хлеба на квас? К тому же покупка дряненького чемодана, пиджака и рубашки с галстуком пробили основательную брешь в моем бюджете. От казаков узнаю, что Донское Войсковое правительство, которое тут же, в Константинополе, выдает неимущим студентам, — а все были неимущие! — по четыре лиры. В Войсковом правительстве меня встретил бывший министр просвещения Всевеликого Войска Донского Владимир Николаевич Светозаров. Это был очень энергичный и милый человек, происходивший из крестьян Донской области. Восемь просимых лир он мне не дал, а только четыре, чему я был страшно рад: помогла ссылка на С. В. Макарова, моего станичника, друга детства моей матери и отца. Он был министром земледелия Донской республики, а в Клетской — учителем двухклассного училища.

Итак, четыре лиры были в кармане, остальные четыре я заработал на разгрузке брикетной угольной пыли, отправка в Прагу моей группы назначена на 29 октября 1921 года.

Грузились мы в товарные вагоны без всяких удобств. В составе поезда был, кажется, только один вагон третьего класса. Там разместилось наше студенческое начальство, а нам тогда было все равно как ехать — на крыше, на буферах или в скотских вагонах. Стоя в открытых дверях товарняка, я смотрел, как турецкая земля убегала назад, к Константинополю, который медленно заволакивался лиловой дымкой и наконец растаял вдали со всеми своими мечетями, стрелами минаретов, султанским Сералем…

Совершенно не помню, как нас по дороге кормили, но в памяти крепко засело, что администрация группы выдавала нам неограниченное количество чудесного, белого хлеба, похожего на наш ситный. Набрасывались мы на него с остервенением, жевали до боли в челюстях, а остатки прятали — кто под подушки, а кто просто под одеяло и всякое тряпье, которое заменяло подушки. Хлеб черствел, но мысль о том, что его могут перестать выдавать, делала нас очень осторожными и запасливыми.

В Вене поезд стоял несколько часов. На перроне ко мне подошел человек в штатском и по-русски с чуть заметным

акцентом отрекомендовался:

— Ван-дер-Вельде. Был когда-то атташе голландского посольства в Петербурге. Я очень люблю русских, и мне бы очень хотелось взять вас и два-три ваших приятеля в город. Посидим в лучшем кафе города. Вы, вероятно, отвыкли от всего этого. Повторяю — я очень люблю русских…

По дороге в город Ван-дер-Вельде купил нам по прекрасному альбому Вены, по паре хороших перчаток, еще какую-то мелочь, в кафе заказал замысловатую закуску, чудесный кофе с пирожными. Помню, все смотрели на нас с удивлением, ведь одеты мы были довольно оригинально. На мне — короткая английская шинель, мягкая защитная фуражка, черные суконные штаны, синяя гимнастерка, на ногах — военные французские буксы. Приятель был в серой солдатской шинели, на голове — штатский котелок, а на ногах что-то невообразимое. Второй дружок не уступал нам, так что не удивительно, что все кафе сосредоточило свое внимание на нашей компании.

Потом голландец, обращаясь к нам, благодушно предложил остаться в Вене, обещая показать ночные заведения, но мы отказались от заманчивого предложения: решалось нечто большее в наших судьбах. Он понял нас, дал немного деньжонок на расходы и проводил на вокзал. С этим милым человеком я долго переписывался, будучи уже в университете, и храню о нем до сих пор теплые воспоминания.

Но вот поезд пришел в Братиславу. Всю нашу группу повели к обеду в какую-то общественную столовую. Помню, большие светлые комнаты, столы с кипенно-белыми скатертями, ковровые дорожки… Мы расселись. Ни языка, ни обычаев не знаем. Нам вносят и ставят на столы миски с супом, разливаем его в тарелки, но никто не ест — нет хлеба! Проходит минут пять. Никто не прикасается к супу. Распорядители взволнованы, обеспокоены, и тогда наш руководитель объясняет: ждут хлеба. В тот день для нас собрали кажется весь хлеб в ближайших пекарнях. Шутка ли — 400 человек, которые даже картошку едят с хлебом!

Это было первое знакомство западных славян со своими восточными братьями. Как оказалось позже, мы во многом не понимали да так и не поняли друг друга. Особенно чешская молодежь относилась к нам настороженно и с каким-то предубеждением. Об этом я расскажу позже, А здесь уместно сказать хотя бы пару слов о так называемой «Русской акции».

Революция выбросила за пределы Родины чуть ли не более двух с половиной миллионов русских, среди которых было много интеллигенции и особенно молодежи, из которой и состояла так называемая Белая армия. Вполне понятно, что образовалось

зарубежное объединение русских академических организаций, после съезда которых летом 1921 года и возникла в Чехословакии так называемая «Русская акция». Во главе ее со стороны русских стоял профессор Алексей Степанович Ломшаков, выдающийся специалист по паровым котлам, работавший тогда в одном из самых мощных шкодовых заводов. Кроме него акцию поддерживал Н. М. Леонтьев — не знаю, кем он был, но, если не ошибаюсь, военным агентом императорской России. Львиную долю в организации акции составляли, конечно, чешские правительственные круги — в первую очередь президент Масарик, Эдвард Бенеш, а самым активным из всех был незабываемый Карел Петрович Крамарж, бескорыстный друг России. Говорят, что много нам помог и Антонин Швегла, друг Масарика, руководитель земледельческой партии страны. Из словаков нельзя забыть профессора инженера М. Урсини.

На первом съезде русских академических организаций в Праге тогдашний председатель совета министров сказал:

> «Для нас всех ясно, что будущее русского народа покоится в руках молодежи. Это элемент, который имеет для нас наибольшее значение, и заботы о его образовании и воспитании являются в то же время наиболее надлежащей работой в интересах русского народа. Когда мы ставили себе вопрос, каким образом мы могли бы наилучше помочь русской эмиграции, только что высказанные мысли именно и привели нас к решению призвать в наши высшие и средние учебные заведения насколько возможно большее количество русской молодежи, чтобы дать ей возможность продолжить свое учение. Мы убеждены, что эта мера, которая встретила живое понимание у всего чехословацкого народа и которой мы уделяем наибольшую заботу и внимание, увенчается добрым успехом и принесет желательные плоды».

Однако пока мы в пути. К вечеру наш поезд остановился на вокзале в Пардубицах: в Прагу сразу не пустили — предстояло отбыть положенный по закону десятидневный карантин.

Карантин кончился благополучно, мы снова погрузились в вагоны — и вот Прага. Мы еще точно не знали, где и как будем жить, как нас устроят. Прошел слушок, что для нас в Высочанах — это район города недалеко от малой железнодорожной станции — предоставлено новое здание, так называемая «Свободарна». По-чешски — это дом, где живут холостяки. «Свободны» — значит холостой.

И действительно, «Свободарня» первоначально предназначалась для холостых рабочих, была разделена на массу маленьких кабинок, где стояли кровать, табурет и… больше ничего. Стены помещения не доходили ни до пола, ни до потолка. Так что все разговоры, вздохи и прочие звуки были слышны во всех кабинах. Но что вздохи! — по сравнению с лемносскими палатками и грязными бараками Стамбула мы попали в рай! Тут можно было скрыться от посторонних глаз, остаться одному, читать… В «Свободарне» была чудесная читальня, столовая, кухня. В столовой довольно часто устраивались всевозможные собрания, там же студенты устраивали спектакли, вокально-музыкальные вечера. Там собирались и ученые для публичных диспутов. Их было в Праге, как маку в степи, особенно после 1922 года, когда Ленин выслал всех не согласных с идеологией большевиков. Нельзя же было весь цвет русской интеллигенции ссылать в холодную Сибирь.

Запомнился мне один из отечественных марксистов, энциклопедически образованный и рассеянный академик Петр Струве, который на открытых профессорских диспутах поражал такой необыкновенной эрудицией, что захватывало дух. С этим человеком трудно было полемизировать даже испытанным в словесных битвах старым профессорам. Без преувеличения могу сказать, что он был эрудирован во всех областях человеческих знаний. О медицине он говорил, как профессор медицинского факультета, и даже такие сокровенные области нашей науки, как теория проводящих путей мозга, ему были более знакомы, чем нам, медикам. О сопротивлении материалов или о конструкциях мостов он дискутировал, как инженер. О вопросах политической экономии — и говорить нечего! Но, думал я, слушая выступления Струве, что этот феноменальный человек, живая энциклопедия, что-то до конца, до точки все-таки не прояснил. Там, у нас на Родине, русский народ хотя и жестоко ошибался, но жил, ставил на ноги огромную страну…

Бывали у нас в «Свободарне» и изящный эстет — ректор Московского университета П. И. Новгородцев, и знаменитый историк А. А. Кизеветтер, кумир молодежи, который знал всю подноготную истории русского народа, но совершенно потерял ориентацию в современных послеоктябрьских событиях, свидетелем которых поставила его судьба. Ему было ясно все, что творилось на Руси при варягах и Игоре, он точно представлял, как и почему возникла кровавая опричнина при Грозном, легко объяснял все оттенки Смутного времени и даже в печати проводил параллели с временем нашим. И все же что-то недопонял в этой, так называемой русской революции профессор

Кизеветтер, как и философ профессор богословия Николай Онуфриевич Лосский. Впоследствии он бывал моим гостем в Желиве, и мы много говорили о случившемся в России, но вот главного-то и он не понял и, кажется, окончил свои дни за океаном…

Помню, как в середине 20-х годов, гастролируя по Европе, попал в Прагу и читал лекцию в Виноградском театре «душка» Керенский. Это, собственно, была не лекция, а скорее истеричная оправдательная речь. Я пролез вперед и, стиснув зубы, смотрел на этого бледного человека с безумными глазами и, каюсь, имел желание пустить в «душку» гнилым помидором или кирпичом! Не дослушав его, я ушел из зала…

Вообще на все эти выступления наша студенческая молодежь как-то мало реагировала. Политики казались нам отработанным паром революции. После всего пережитого пропала вера в авторитеты, произошла переоценка ценностей и большинство молодежи с головой ушло в науку. Мы чертили, зубрили анатомию, составляли проекты, бегали на лекции — политикой, казалось, не занимались, и все же доминирующей темой наших разговоров и мыслей была Россия. Все мы любили свою Родину, и никто из нас ни минуты не сомневался в том, что мы ей не изменили. Был только страх и постоянные опасения, что большевики погубят Россию, что, в конце концов, она распадется и исчезнет с карты Европы. И это было нестерпимо больно…

Вспоминаю, как пражские дамы-патронессы, вся высшая чешская знать устроили для нас, русских студентов, в 1921 году елку. В огромном зале «Соколовны» на вечер приехал и бывший председатель совета министров доктор К. П. Крамарж. В начале вечера он вышел на сцену и обратился к нам с речью. Он бегло и почти без акцента, что между чехами редкость, говорил по-русски. Постараюсь по памяти восстановить его дружеское обращение к нам.

«Дорогие русские друзья! — обратился к нам Крамарж. — Вы, часть русской интеллигенции, волею судеб очутившиеся за границей, естественно, задаете и будете задавать себе вопрос, почему мы, чехи, приняли участие в вашей судьбе и решили помочь вам получить у нас высшее образование. Вам, людям интеллигентным, может это показаться странным в наш суровый век расчетливого отношения одного к другому. Может быть, многих из вас будет глодать мысль, что вы живете на нашем иждивении, как нищие, и мы, то есть чешское правительство, даем вам как бы милостыню. Эти чувства естественны и понятны. Но я, как член правительства, могу вас заверить, что мы даем вам не милостыню, а оплачиваем вам, то есть России, только

незначительную часть того долга, который мы должны вашей Родине. Детали и подробности я не могу да и не имею права вам сообщить, но прошу верить, что, получая нашу материальную помощь, вы берете из своего!» Не помню, что он говорил дальше, но смысл его обращения к нам был именно такой. Тогда же у меня мелькнула мысль: не то ли золото, вернее, часть золотого запаса Российской империи, которое я помогал грузить в Саратове за день до февральской революции и которое, как говорили, было реквизировано чешскими легионерами, имел в виду Крамарж. Недаром в республике одним из богатейших банков был Легиобанк, а чешская крона много лет котировалась на международной бирже наравне с долларом, имея за собой золотое покрытие…

Русские студенты были размещены в Праге в двух местах: большая часть в Высочанской «Свободарне», где жил и я, а часть в старом городе на Вышеграде, недалеко от Влтавы, в старом, но прекрасном здании «Худобинце», то есть в бывшей городской богадельне. Там тоже были и общежитие, и кухня со столовой. Обедать мы могли где угодно, так как каждый получал от администрации комитета по две талонных книжки — одну на обеды, а вторую на ужины. Обмундировывали нас с ног до головы тоже в комитете. Все было очень добротно, но стереотипно, так что русского студента можно было узнать на улице за версту. Впрочем, мы ухитрялись избавляться от унификации, хотя это и кончалось иногда не лучшим образом.

На Старом Месте, за храмом св. Николая, который чехи любезно предоставили православным русским, к Влтаве бежала узкая уличка. Здесь, как на московской Сухаревке, продавали всякий хлам. Одну из лавчонок с готовым платьем держал юркий еврей Рейман, который говорил по-русски. Так вот, получив два стереотипных костюма из комитетского склада, мы как-то летом с моим дружком и однокурсником Сашкой Донченко отправились к Рейману и выменяли наши шерстяные темно-синие костюмы на модные тогда бежевые. Брюки были узкие, из легкой материи в полоску. Так что мы с Сашкой были от радости на седьмом небе и мотнулись домой. Но, на наше несчастье, по дороге нас захватил ливень. Прибежав в «Свободарню», мы, конечно, разделись и стали сушить новенькие костюмы, а утром их не узнали — с них сошел ворс и модные брючки сели так, что в узкую штанину еле можно было влезть. Пиджаки были не лучше и катастрофически сузились в плечах. Мы смотрели друг на друга, всплескивали руками и смеялись как безумные. Надул нас еврей Рейман!

Чешское студенчество, за очень малым исключением, в отличие от высших кругов общества и большинства профессоров,

отнеслось к нам почти враждебно.

Как-то, чуть ли не в первый или второй год нашего пребывания в Праге Союз чехословацких медиков созвал общее собрание всего факультета. Говорили, что будут обсуждаться общие, текущие вопросы. И вот, представьте себе: вечер, огромная до отказа набитая аудитория, шумно, многие курят, горячо спорят на текущие и обычные во всякое время темы. Вдруг поднимается какой-то взъерошенный студент и начинает злобно говорить о нас, русских студентах.

— Коллеги! — кричит он. — Наш университет, Прагу и вообще все наши высшие учебные заведения запакостили иностранные пришельцы! Я, собственно, говорю о русских! Спрашиваю: что представляет из себя этот сброд, эти полицейские, которые пытались задушить русскую революцию?.. Они органически не способны к интеллектуальному труду, и мы должны от них как можно скорее избавиться, настоять перед нашим правительством, чтобы их снова посадили в скотские вагоны и отправили в советскую Россию. Тут им делать нечего! В нашей свободной республике им делать нечего! Предлагаю резолюцию! — и зачитывает ее.

И все же в Праге нам жилось хорошо. С утра до ночи, пока не был на лекциях, я слышал родную речь, общался с подобными мне русскими ребятами. Присутствие русских профессоров между нами создавало впечатление, что и учимся-то мы в России. Не оставляла, однако, мысль: «А как дальше?» Я быстро осознал, что остаться в «Свободарне» — значит никогда не изучить чешский язык. Выход был только один — уйти на частную квартиру. Это разрешалось. Таким студентам комитет ежемесячно выдавал пособие в размере 400 крон, и для скромного существования этого было вполне достаточно. Словом, я подал прошение. Мне разрешили, и я поселился в квартире рабочего Келлера. Решение было правильным. Тут я начал натаскиваться в разговорном чешском языке, что значительно облегчило понимание лекций.

Первое каникулярное лето вместе с Иваном Гончаренко мы провели у его знакомого крестьянина Владимира Кассала в деревне Хвалетице, недалеко от Градце-Кралове. За стол и место в сарае мы помогали убирать в поле хлеб. Комитетские деньги, таким образом, оставались неизрасходованными, что было очень выгодно. Второе лето я провел более продуктивно, работая уже как медик на Подкарпатской Руси, в городке Севлюше, недалеко от Ужгорода. Там была довольно примитивная больница, размещенная в каких-то бараках. Главным врачом в ней работал доктор Янда, бывший русский легионер, и жена у него была русская.

Люд на Подкарпатской Руси был тогда примитивный, забитый. На частых ярмарках и торгах дело нередко доходило до поножовщины, убийств. Так что я прошел там хорошую школу начинающего хирурга.

В Севлюше было много евреев, которые строго держались закона Моисея. По субботам они ходили в пестрых платках на плечах и лисьих шапках. Самым торжественным днем в неделе было у них не воскресенье, а суббота. Евреи всюду ели свою традиционную мацу, а в окнах горниц по вечерам можно было видеть типичные подсвечники с зажженными свечами, и целые семьи сидели за столом, уставленным традиционными яствами. Буквально вся торговля была в их руках. Раньше я никогда не видел евреев, так как в Донской области им было запрещено жить, и посему я с большим любопытством присматривался к жизни и обычаям этого древнего народа. В нашу больницу часто приходил врач Езефович, очень милый, обходительный еврей. Нам, медикам, он приносил всевозможный материал для разбора и исследования в больничной лаборатории.

— Очень прошу, коллеги, помочь мне делать все разборы — у меня лаборатории нет, а я не останусь вам должен. Когда будете уезжать в Прагу, я с вами рассчитаюсь, очень хорошо рассчитаюсь, в долгу не останусь…

И вот за день до отъезда он позвал нас к себе на квартиру. Попросил подождать, вышел в соседнюю комнату и через некоторое время, приветливо улыбаясь, торжественно выложил на стол пачек десять чудесного, как он говорил, листового табака-сырца. Сложили мы свои гонорары в чемоданы, набили по чемодану чудесными помидорами, которые росли на поле у больницы, — и на вокзал.

Что же из всего этого вышло, когда мы двинулись к нашей «альма-матер»? Поезд, конечно, третий класс. Народу уйма. Как всегда, в дороге знакомства, разговоры. И вот я похвалился моему собеседнику, что везу из Подкарпатской Руси немного сырого табака. Собеседник-чех всполошился:

— Как сырого?

— В листьях, — говорю, — врач тамошний за работу дал.

— Врач? А знаете ли вы, что перед Прагой производят проверку чемоданов и контролируют продукты? И если у вас найдут хоть пару листьев табака — тюрьма или штраф! А то вас, как эмигранта, может быть, и за границу вышлют. Вы разве не знаете, что у нас табачная монополия?

— Да у меня лишь пара листьев, — говорю.

— А это все равно, доказывайте там…

На самом же деле у меня было чуть ли не полчемодана

табака. Переведя разговор на иные рельсы, я тихонько стянул чемодан с полки и понес его в уборную, где все, пачку за пачкой, спустил в раковину.

Дальнейшие каникулы мы с Сашей Донченко проводили обычно в старой, очень известной в Чехии больнице, в небольшом, благоустроенном городке Градец-Кралове. На самом берегу веселой речушки Орлицы, у ее впадения в торжественную и далеко несущую свои воды Эльбу (по-чешски Лаба), стояло, да и теперь еще стоит, трехэтажное здание так называемой старой больницы. Тут, как, впрочем, и во многих других больницах республики, верховодили монашки — они составляли средний медицинский персонал, решали все вопросы больницы, не считаясь ни с главным врачом, ни с остальными врачами больницы. Теперь в здании больницы находится приют для престарелых, и уже в мое отсутствие, соревнуясь с соседними Пардубицами, Градец выстроил огромную модерную больницу, в стенах которой разместился медицинский факультет Пражского университета.

На год раньше своих однокурсников, 3 июня 1927 года, я получил диплом врача и очутился совершенно без средств к существованию. Дело в том, что нам, русским эмигрантам, выдавали такой же диплом, как и чехам, но с печатью на его обратной стороне: «Выдал реверс, что отказывается от врачебной практики на территории Чехословацкой Республики, не будучи ее гражданином». Не случайно многие по окончании университета уезжали во французскую Центральную Африку, кое-кто отправлялся в Южную Америку, другие страны.

Я сначала решил попытать счастье в Черногории, куда почему-то не попал, а в Америку отказалась ехать моя жена. Кстати, расскажу сейчас, как я женился. Много наших студентов из-за экономии скудных деньжонок жило в окрестностях Праги. Русскими были густо заселены Мокропсы, Черношице, Вшеноры, Хухле и Ростоки. Я тоже прожил около года в Ростоках, в комнате у одного железнодорожника.

Так вот, как-то в одно из воскресений мы с Гончаренко решили навестить нашего коллегу Павла Еременко, который женился на вдове, старше его вдвое, и жил, как калиф. Для солидности Паша отпустил бородку, на лекции и в комитет являлся всегда в старомодном рединготе, унаследованном от покойного мужа жены. Когда с тростью важно он проходил по коридору, смешливый Жорка Донец командовал: «Смирно-о-о, господа офицеры! Павел Иваныч явились!» После обеда Еременко ложился отдыхать, жена и теща в это время останавливали все часы в доме, чтобы не беспокоить Пашу, а мы являлись к нему и,

стуча ногами, кричали во весь голос:

— Здорово, Павло! Вставай помещик! Нечего брюхо належивать! Жена-чешка в ужасе всплескивала руками и, закатив под лоб глаза, шипела:

— Тише, тише… Павльюша сплйт.

Так вот, к этому-то Павльюше мы ехали на чай с вареньем — знали, что старая жена кормит его на убой. В воскресный день народу в пригородных поездах довольно много. Стоим мы в коридоре у окна, и вдруг в толчее я улавливаю русскую фразу. Оглянулся — и вижу в соседнем купе статного старика, пожилую женщину и очаровательную девушку. Русских эмигрантов в Праге было много. В поездах знакомства заводились легко и быстро. Протолкавшись к ним, узнаю, что старик — чех, недавно уехавший из России со своей женой и 18-летней дочкой Олей. Старик оказался профессором Киевской консерватории по классу рояля и фагота. Одновременно он преподавал в Киевском институте благородных девиц. Очень милая и по-русски приветливая старушка, к сожалению, плохо слышала. В России, по ее словам, она была преподавательницей математики в Каменец-Подольской гимназии, а потом переехала в Киев к брату-филологу, который имел свою собственную гимназию. Там она и вышла замуж. Словом, это была чисто чешская семья, но впитавшая в себя за полувековое пребывание в России все русское. Разговорились, получили приглашение заходить к ним по вечерам в свободное время. Гончаренко, с которым я ехал, по-видимому, остался совершенно равнодушен и к русскому языку, и к милой девушке. А мне скромная Оленька более чем нравилась. Но я старался не обращать на нее особого внимания и вел разговоры главным образом с бабушкой — читал ей свои стихи, делился планами на будущее…

Больше года я ходил в эту чудесную семью, которая стала для меня почти родной. С Оленькой мы ни разу не были ни в театре, ни в кино, ни на балу. Но из недомолвок, перекрестных взглядов и вздохов, как это бывает у всех молодых людей на нашей старой планете, возник ясный вопрос: что же дальше?.. И я практически разрешил этот вопрос. В один из вечеров, когда Анна Ивановна читала, как обычно, газету, а мы с Олей перебрасывались совсем незначительными фразами, я спросил у нее:

— А хотели бы вы стать моей женой? Оля, чуть подумав, тихо сказала:

— Да…

Тогда, обратись к погруженной в чтение Анне Ивановне, я твердо заявил:

— Анна Ивановна! Мы с Олей поженимся!

Старушка медленно положила на стол газету и, смотря на меня через очки, выдохнула:

— Та-а-а-к… А что скажет отец?

Я попрощался и ушел, считая, что окончательный ответ *получу* в следующий приход, когда отца подготовят к моему предложению.

Этот удивительно трудоспособный человек с утра до поздней ночи ездил по Праге и ее окрестностям, где давал уроки рояля своим многочисленным ученикам, которые его очень любили за веселый характер. В России у него было блестящее положение, многоэтажный дом в Киеве, чудесная загородная дача, где он принимал гостей. И вот в 68 лет он бросил все это и буквально нищим вернулся с женой и дочерью в Прагу.

Когда я в следующий раз пришел за ответом, Сергей Осипович встретил меня в штыки:

— Да вы что, молодой человек, белены объелись?.. У вас ни роду, ни племени, как говорится, а у девчонки ни гроша за душой… голая она! Понимаете?.. Ну, что вы будете делать, чудаки?

— Жить, Сергей Осипович! Я устою! Оля со мной не пропадет.

— Нет, нет! Какую чепуху, скажите пожалуйста, выдумали, — заключил он, повернулся и ушел.

Я решил переехать в Братиславу. Там был филиал Русского комитета. Казалось, с глаз долой — из сердца вон. Поэтому я занял у Донченко 60 крон, купил в китайском магазине чудесную чайную чашку из прозрачного фарфора — Оле на память — и пошел прощаться. Вот тогда все и решилось: совершенно неожиданно я получил согласие на брак.

Вскоре работяга-тесть купил собственную квартиру, состоящую из двух комнат и кухни. Одну комнату сдавали, вторую дали нам, сам же Сергей Осипович с женой жили в кухоньке. Времени тогда у меня было хоть отбавляй, карманы совершенно пусты, и я много читал, писал стихи о Родине, которая и днем и ночью стояла передо мной, но надо было где-то и работать, содержать семью. Посоветовавшись с Сергеем Осиповичем, я решил обратиться за помощью к хорошему знакомому тестя еще по России — доктору Владимиру Герингу. Полковник Геринг был в русском плену, в Киеве часто навещал семью моего тестя, а в Праге он заведовал хирургической клиникой преимущественно для состоятельных людей. Кроме этого Геринг был заместителем председателя Красного Креста республики — Алисы Масарик, дочери президента. И вот на этого-то человека я возложил все свои надежды, и не ошибся.

Геринг принял меня очень радушно, предложил выполнять наркозы при всех операциях, которые производились у него почти ежедневно в небольшом операционном зале. За короткие наркозы мне платили 50 крон, а за длительные, которые продолжались иногда по 3–4 часа, платили по 100 крон. Заработки были хотя и не регулярные, но хорошие. Кроме этого Геринг устроил меня ординатором по легочным болезням в бесплатную амбулаторию Красного Креста. Заведовал амбулаторией незнакомый мне, очень вежливый и обходительный доктор Чапек. Но я не входил с ним в контакт и работал совершенно самостоятельно. Новизна работы меня захватила, я старательно возился с каждым приходящим к нам, и — о, радость! — за два-три месяца количество пациентов амбулатории возросло с пятидесяти до ста — ста двадцати в приемный день. Я торжествовал, и администрация была очень довольна. А в свободное время я работал еще в нескольких университетских клиниках. За это Красный Крест платил мне 900 крон в месяц, чего моей семье — а вскоре Оля родила сына, в котором я души не чаял, — вполне хватало!

Но вот весной я как-то забежал в центральное объединение чешских врачей и спросил места в деревне на время летних каникул, когда участковые врачи обычно разъезжаются к морю, в горы, за границу. Чиновник охотно предложил мне на выбор несколько мест. Но мне было решительно все равно, куда ехать — чешскую провинцию я совершенно не знал, а оплата работы в моем эмигрантском положении была просто баснословна: 100 крон в день, стол, комната! Я выбрал местечко Кошетице. Это оказалась захудалая деревенька с замком какого-то помещика, расположенная на Чешско-Моравской возвышенности.

В деревнях, известно, все новости и происшествия идут по беспроволочному телеграфу. Вскоре о русском докторе пошла слава: русак и зубы рвет, и роды ведет, и шьет, и режет, и всех обитателей богадельни вылечил от всех болячек…

А мне запомнилось, как однажды после обеда в ординаторскую ворвался местный пекарь Беранек. На нем не было лица. Оказалось, что его жена сильно кровоточила после тяжелых родов, которые по обычаю вела местная повивальная бабка. Минуты на сборы — и я у пострадавшей: у нее произошел разрыв шейки матки. Нужно срочно шить. Спешу. Но тут свой ритуал: пятнадцать минут в горячей воде со щеткой, три минуты в растворе сулемы и пять — в алкоголе. Это нужно — иначе неотвратимый сепсис, который почти всегда в таких случаях кончается смертью. Начинаю шить. Кровотечение останавливается, я облегченно вздыхаю. А в это время в спальню на цыпочках входит встревоженный Беранек и говорит:

— Господин доктор, к вам приехала делегация — просят выйти к ним.

— Какая делегация? — спрашиваю.

— Из Горжепника. Это село километрах в шести от нас.

— А что они хотят от меня?

— Не знаю. Но на автомобиле приехали сам староста, учитель городского училища, заведующий дорогами и даже Коубек — торговец…

Окончив работу, вымыв руки, выхожу к делегации, и тут состоялся разговор, который запомнился мне во всех подробностях.

— Господин доктор, — начал старый Коубек, влиятельный торговец, который держал всю округу в руках, — мы, представители соседнего местечка Горжепник, долго следили за вашей деятельностью в Кошетицах и уполномочены просить вас — занять место нашего участкового врача. Нам нужен человек, который умеет вести роды, знает хирургию и вообще такой, как вы!

От такой речи я опешил и, разведя руками, спрашиваю:

— Но разве у вас нет врача?

— Есть, но он уходит на место своего отца.

— Ну, а конкурс? — спрашиваю снова, зная, что места врачей занимаются исключительно по выписанному в таких случаях министерством здравоохранения конкурсу.

— Это ничего не значит. Мы поедем к министру и заявим, что иного врача к нам просто не пустим! — категорически заявляет Коубек.

— Но, послушайте, я совершенно не собирался идти на участок. У меня иные планы. Я гол как сокол, а для открытия практики нужно много денег. У меня нет ни обстановки для квартиры, ни нужного инструментария…

Но тут меня перебили сразу же и Коубек, и учитель Купшовский, и староста. Они разбили все мои «но» по пунктам, разъяснив, что в местечке есть две сберегательные кассы, что мне беспроцентно дадут, сколько будет угодно — 20–30 тысяч крон. Коубек пообещал снять у местной помещицы квартиру для меня в так называемом «замке». Словом, оставалось только одно — получить мое согласие, и решили, что на следующий день они приедут ко мне за окончательным ответом.

Утром я позвонил в Прагу жене:

— Попробуем? Не на век же…

Оля согласилась. Мы попробовали и… остались в этом краю на всю жизнь…

Горжепник, древнее село в тысячу жителей, притаилось на

берегу небольшой речушки Трнавки. Площадь с парой еврейских лавчонок и ратушей, хороший костел, большое имение, которым верховодила помещица Горакова, три-четыре улицы — вот и все. Местечко понурое, старое, не блещущее природными красотами, но выбирать было не из чего — нужно было начинать жизнь.

В Горжепнике в сберегательной кассе я занял, как было договорено, 20 тысяч, еще 10 тысяч в долг дал мне тесть. Сергей Осипович, кроме того, подарил нам недорогую кухоньку, старинный ореховый буфет, довольно красивый, но уже отслуживший свой век. Заехав на Пршикопы, у братьев Чижковых я накупил массу необходимых медицинских инструментов… Местный столяр в Горжепнике на второй же день привез мне превосходную дубовую спальню, сделал сиденья к стульям, обновил их и дал мне в столовую большой круглый стол. У второго столяра я заказал турецкий диван, шкафы для инструментов. Сын помещицы свозил меня в окружной городок Пелгржимов, где я купил ковер, занавеси, и вот наша квартира приобрела жилой вид.

Еще не был оборудован рабочий кабинет, еще требовалось пополнить лекарствами аптеку, а пациенты не ждали и повалили валом. До обеда я занимался консультациями их, после обеда ездил к больным, которые не могли передвигаться. Неоднократные вызовы выпадали и на ночь. В общем я должен был обслуживать около пятнадцати деревень с населением приблизительно в три с половиной тысячи человек. Совершенно неожиданно ко мне потянулись люди и из соседних Кошетиц и прилегающих к ним деревень. Практика оказалась огромной, разрасталась с каждым днем, в местной газете, издаваемой в Пацове, начали обо мне писать хвалебные отзывы. Писали, что наконец-то у нас, в провинции, появился врач, который все умеет, что скорая врачебная помощь теперь обеспечена. На одну из этих статеек зло откликнулся врач Манда, заявив, мол, какая же это скорая помощь, если парень ездит всюду на повозках и даже машины у него нет. Но за этим дело не стало. Мне тут же предложили в рассрочку все, что душа захочет: и пишущие машинки, и автомобили, и лекарства, и книги, и обстановку. Нужно было иметь большую изворотливость и терпение, чтобы отделаться от всех этих вежливых, настойчивых и обходительных представителей чешской коммерции.

Практика моя необыкновенно разрасталась. Подозреваю, что меня сильно рекламировал Коубек, который, как я уже заметил, держал надо мной охранную руку.

Все, казалось бы, шло хорошо на моем участке — и зубную практику здесь я завел впервые, и роды принимал, и

превентивную прививку против дифтерии практиковал. Но в Горжепнике мне что-то уже не сиделось — и квартира темна, и воды мало, и лес далеко. Убежденный деревенский житель, я решил искать место поближе к природе и начал просматривать наши медицинские журналы, где объявлялись конкурсы на свободные участки. Не сразу удалось подобрать подходящее место, пришлось повоевать и с чиновниками из министерства здравоохранения. И вот осенью 1934 года получаю письмо, в котором сообщалось, что в соседнем местечке Желив умер участковый врач Соботка, что люди в Желиве меня знают и будут рады видеть там своим лекарем.

Я поехал посмотреть местечко. Разыскал старосту — им оказался лесничий Желивского имения, принадлежащего монастырю. Он-то и дал мне всю нужную информацию об участке. В селе насчитывалось около тысячи жителей. У монастыря в то время было много гектаров леса, пахотной земли и несколько так называемых «дворов», то есть филиалов имения. По положению участковый врач в Желиве обязан был быть одновременно и монастырским врачом. От монастыря он получал бесплатную квартиру и так называемый «депутат» — зерно, хлеб, мясо, пиво и прочее.

Квартира — небольшой особняк в семь комнат с кухней — пришлась по душе. Со всех сторон сады, речка Трнавка — до трех метров глубиной. Около дома, вдоль правого берега речки до самой «пржеворки» — отвесной скалы, высоко выброшенной над рекой, — так называемый овечий косогор, заросший смешанным лесом. Католические монахи, бродя по европейским просторам, выбирали для своих монастырей чудесные уголки, одним из таких и был Желив. Прошений на этот живописный участок с монастырем набралось много, и я попросил настоятеля Желивского монастыря поддержать меня у министра здравоохранения монсеньора Шрамка, что он и сделал. Позже, разговаривая с настоятелем, личным врачом которого я был, спросил, почему выбрали меня, эмигранта, к тому же схизматика — не католика. На это настоятель, смиренно улыбаясь, ответил:

— Вот потому-то, что вы не католик, мы и выбрали вас. Как не католик, вы не будете интересоваться нашими монастырскими делами и мешать нам. А о вас мы хорошо информированы…

В монастыре была редчайшая библиотека, вмещающая в своих просторах знаменитые и неповторимые инкунабулы — рукописные и печатные. Многие из них были на пергаменте, чудесно переплетены и снабжены изумительной красоты рисунками, украшенными золотой фолией. Особенно меня

поразило несколько огромных книг, переплетенных в натуральную ослиную кожу. В одной из них было повествованием сотворении мира с текстом, напоминающим историю или географию. В период революционных ветров и настроений, которые веяли над молодой республикой с 1918 до 1920 года, много монахов и послушников уходили из монастырей в свет, в гражданскую жизнь. Республика была наводнена иностранцами, преимущественно богатыми людьми из Америки, которые скупали все антикварное. Добрались они и до инкунабул, из которых послушники и монахи вырезали рисунки и продавали американским дельцам. А те потом делали из них украшения на дорогие и эффектные дамские ридикюли… Каждая эпоха имеет свои странности. Ходили слухи, что в 1951 году, когда монастырь был ликвидирован, из него все вывезли и все распродали новые владельцы. Говорили, что два или три больших грузовика с бесценными книгами стояли под проливным дождем. Все, как в советской России…

Во время последней войны, когда республика стала германским протекторатом, в монастыре были размещены ученики Берлинской гимназии — «Гитлерюгенд». Помню, как в морозный денек 1942-го в ординацию постучали и вошел незнакомый мне человек. За ним — медицинская сестра. Незнакомец щелкнул каблуками и, подняв вверх руку, громко произнес:

— Хайль Гитлер!

Потом он что-то начал лопотать по-немецки. Замечу, что чехи панически боялись и ненавидели немцев. У меня же еще с детства было к ним особое, наше, русское отношение: немец обезьяну выдумал… Я их всегда уважал за образцовый порядок, пунктуальность и прочее, но никакого страха они во мне не возбуждали.

Сестра, судетская немка, тогда перевела мне слова незнакомца и представила его:

— Это наш лайтер-начальник «Гитлерюгенда». Мы прибыли из Берлина. Начальник просит, чтобы вы взяли мальчиков под свой врачебный надзор.

— Хорошо, — ответил я. — По нашим законам, я обязан лечить каждого человека, поселившегося в моем районе. Но прошу передать вашему начальнику, что, как русский, не могу приветствовать его принятым в Германии арийским взмахом руки.

Сестра перевела мой ответ. И, к моему удивлению, немец улыбнулся и сказал:

— Ничего, доктор, ни вы, ни мои ученики не будут

обмениваться нашим арийским приветствием. Я прошу только лечить их.

Присутствовавшие при этой сценке чехи потом разнесли по всему району, что, мол, русский казак-доктор даже начальника «Гитлерюгенда» не испугался и отказался приветствовать его по-арийски. Говорили: «Наверняка наш доктор сильнее немецкого гестапо, если осмелился так разговаривать с высоким начальником…»

…В 1948 году, в феврале, в республике повеял новый ветер. Пришло новое правительство, а с ним и новые порядки. Монастырь естественно стал анахронизмом, но обитатели его об этом и не подозревали. Лично мне судьба монахов и монастыря была совершенно ясна уже в мае 1945 года, когда Красная Армия со своими страшными танками прошла по тихой чешской земле. Старый настоятель, дальновидный и хитрый, уступил свое место молодому члену их ордена Виту Тайовскому. Что только ни делал Вит, получив настоятельское место! Такую демократию развел, что даже на танцульки, устраиваемые в местной гостинице «На Коцанде», ходил со своими монахами. Но ничего не помогло. Новое правительство набирало силы, осматривалось, присматривалось и однажды, утром 1951-го, прислало в монастырь соответствующие контингенты специалистов, которые оцепили густой цепью все монастырское хозяйство и увезли монахов бог весть куда. Молодому настоятелю Виту дали семнадцать лет каторги в Илаве — одной из страшнейших тюрем республики. Все, как у нас, в советской России….

Желив

Однако пока еще шел 1935 год. В начале января я наконец-то получил из министерства декрет о назначении меня участковым врачом в Желиве. Несмотря на то, что жители Горжепника совсем не были рады моему уходу от них, представители местечка устроили нам «На раднице» торжественные проводы. Было много теплых и сердечных речей, что-то несуразное от волнения говорил и я. И вот 13 января 1935 года всей семьей мы приехали в Желив.

Явились со своим легковым автомобилем, а все громоздкие вещи и обстановка были перевезены грузовиками еще накануне. В теплой квартире нас ожидала Маня Кожишкова, наша новая прислуга из засидевшихся девиц. Несмотря на то, что мы приехали рано утром, в доме было очень уютно и тепло. В столовой на столе лежало приглашение на бал, как это ни странно, в монастырь. Собственно говоря, бал-то устраивали не монахи, а служащие монастыря и члены партии клерикалов, но на танцульки обычно ходили и монахи, и жители окрестных деревень. Одетые в кремовые сутаны, монахи чинно сидели за особыми столами и не танцевали. У католиков на этот счет строго — это не наши православные попы, которые, задрав рясу, бывало, откалывали веселую комаринскую. Мы, конечно, настроились на мероприятие. Нужно было познакомиться с моими будущими пациентами да и себя показать.

Я пришел на бал в отлично сшитом смокинге, в соответствующих брюках с черными лампасами. Оля надела бальное платье. И вот устраиваемся за столом, где разместилась желивская знать: управляющий, лесничий с женой и несколько монахов. Загремел оркестр чешскими польками, вальсами. Но наша сиеста длилась недолго. По залу пошел шепот: «Где доктор?» И тут же ко мне подбежал запыхавшийся рабочий.

— Доктор, скорей! Жена исходит кровью… выкидыш на четвертом месяце… Ради Бога, скорей!

Поспешно распрощавшись с присутствующими, я сбегал домой за чемоданом с акушерскими инструментами — и вскоре был у пострадавшей. Тонка, молодая женщина, лет двадцати пяти, плавала в луже крови и таращила на меня полные ужаса глаза. Сбросив смокинг и засучив рукава крахмальной рубахи, я вымыл, согласно положенному ритуалу, руки и исследовал роженицу. Ее муж показал мне какую-то тряпицу, в которой был завернут отошедший плод, но кое-что еще осталось в матке — потому-то Тонка и кровоточила. Что тут будешь делать?

Освободили от всякой рухляди кухонный стол, поставили его посередине комнаты под лампу, и операция началась. Нужно было удалить остатки плода. Ассистировали, держа в нужном положении ноги Тонки, ее муж да приглашенная соседка. Все окончилось благополучно. Кровотечение прекратилось. Это была моя первая пациентка в Желиве. Так началась жизнь на новом месте.

Летом мы гостили у моего станичника Ивана Колесова в Братиславе. От Братиславы до Вены — рукой подать, а формальностей с заграничными поездками — никаких. Так что побывали и в Вене. Строгостью линий и планировкой широких улиц этот прекрасный город чем-то напоминал Питер. Дунай там, конечно, не голубой, а, как и всюду в городах, мутно серый и совсем не широкий, как мы представляли. Странно было видеть мост графа Разумовского, русского посла в Вене, который он построил на свои средства, чтобы сократить дорогу ко дворцу. Зашли мы и в бывший императорский дворец Шенбрунн, где нас особенно поразила скромная обстановка комнат, в которых совсем недавно жил император Франц-Иосиф. Железная кровать, обыкновенный письменный стол и все прочее были трогательно просты; я смотрел на императорскую обстановку и думал: «И к чему эти люди взваливают на свои плечи колоссальную ответственность за судьбы народов?..» Невольно припомнилась книга Георгия Чулкова «Императоры» — о жизни русских царей-государей. За ними всю жизнь охотились, как за дикими зверями, разные Каракозовы, кибальчичи, рысаковы и даже, казалось бы, нежные дамы — перовские, веры фигнеры. Так называемая «прогрессивная» печать описывала царей как отпетых негодяев и преступников, а людей, которые за ними охотились, возводила в сан мучеников и героев. Странно, однако, устроен наш мир, неисповедимы пути духа человеческого…

Расскажу, однако, об одном интересном эпизоде моей жизни.

В 1936 году по эмиграции пронесся слух, что в маленькой, полупровинциальной Софии, в Болгарии, появился какой-то советский журналист, якобы бежавший через финскую границу из северных концлагерей, и что этот человек издает сейчас исключительно интересную газету «Голос России». Я начал искать ее. И вот как-то в одно прекрасное утро ко мне зашел мой знакомый пражский инженер, сын русского академика, и вручил несколько номеров «Голоса». Редактором этой газеты был Иван Лукьянович Солоневич.

В эмиграции Солоневич стал самым популярным человеком, статьями которого зачитывались все, даже чехи. Помню, необыкновенную сенсацию произвела его довольно объемистая

книга «Россия в концлагере». Она была переведена на все европейские языки и гремела тогда, как американские бестселлеры, по всему миру. Книгу да и газету иллюстрировал талантливый сын Солоневича Юрий, который вместе с отцом бежал из коммунистического концлагеря.

…Уже полтора года мы читали «Голос России», и вот в начале 1937 года на мое имя приходит письмо из Софии. Писала Тамара Владимировна Солоневич. Писала мне, человеку ей совершенно неизвестному, с тревогой о муже и просила, как русского врача, помочь Ивану Лукьяновичу с устройством в лечебнице, которые в Чехословакии были значительно лучше болгарских.

Политическому эмигранту Солоневичу требовалось разрешение для въезда в Чехословакию от министерства иностранных и внутренних дел. Подумав, я решил ехать в Прагу и обратиться за помощью к генералу Герингу, председателю Чехословацкого Красного Креста. Когда рассказал ему, зачем приехал, он усмехнулся:

— Вам везет! Человек, который заведует разрешениями, мой друг. Для меня он сделает все. А Солоневича я знаю, как же… Читаю часто. Хлестко пишет!..

И вот мы с женой в министерстве. Оля остается в коридоре, а я, постучав, вхожу в кабинет.

— Прошу! Я в вашем распоряжении, — обращается ко мне его хозяин, но после моей просьбы восклицает: — Да вы с ума сошли, доктор! Да вы знаете, кого вы сюда к нам приглашаете?

Я, хотя и обескуражен приемом советника, спокойно отвечаю:

— Знаю. Солоневич — редактор русской эмигрантской газеты, издающейся в Софии. Он тяжело болен, и этого для меня вполне достаточно, чтобы я исполнил просьбу его жены и пригласил его сюда для лечения. Я, как русский и к тому же врач, не могу отказать в просьбе семье Солоневичей…

— А вы знаете, доктор, кто за этим Солоневичем сюда потянется? Вы ведь не знаете, с кем он связан!

— Да меня это не интересует — я хочу только помочь больному. Я совершенно не занимаюсь политикой, не состою ни в одной партии, и если хотите, то можете запросить мою характеристику от желивской жандармерии, — говорю я, а советник протягивает мне какую-то тощую папку.

— Я уже это сделал, — усмехается он. — Вот папка о вас, в ней нет ничего!

— Так в чем дело, господин советник? Что вы знаете о Солоневиче, что не советуете его взять сюда для лечения?

— А это я не имею права вам сказать по долгу службы.

— Тогда прошу дать разрешение на его приезд сюда — мне

нечего бояться, — не успокаиваюсь я.

— Хорошо, — соглашается советник. — В просьбе моему другу Герингу я отказать не хочу, но предупреждаю: если вы не откажетесь от вашей безумной затеи, то можете навсегда исковеркать жизнь всей вашей семьи. К тому же еще одно непременное условие: наш посол в Болгарии даст Солоневичу провожатого до границ Чехословакии, где его передадут нашим людям, которые привезут его в Прагу, прямо в четвертое отделение, где с него снимут допрос. Только после этого допроса мы решим — пустить его к вам или тем же путем вернуть обратно. Если он тут останется, ваш дом, вы и вся ваша семья будут находиться под постоянным полицейским надзором. Негласным, разумеется…

С ближайшей почты я послал подробную телеграмму в Софию об условиях приезда сюда Ивана Лукьяновича. Солоневич ответил, что согласен на все условия. Но вскоре от него пришло заказное письмо, в котором была просьба достать визу и для брата Бориса. За этой визой поехала моя жена и, конечно, ее не получила. Чиновники министерства, по словам Оли, пришли в ужас, когда узнали, что она хлопочет о визе еще для одного Солоневича!

Шел 1937 год. Я списался с несколькими лечебницами и остановился на санатории в замке Тухлов. Через неделю должен был приехать Солоневич. Лето в том году было прекрасное. В Желиве жило на дачах несколько наших знакомых русских семей. Но как-то после обеда явился почтальон и подал телеграмму из Швейцарии: «Гость не может приехать — экстренно вызван к одному из Романовых в Париж. Встреча откладывается на более благоприятное время».

Не скрою, мне не только хотелось помочь Ивану Лукьяновичу, но и увидеть человека «оттуда», человека, который всколыхнул всю русскую эмиграцию своими необыкновенными статьями, познакомиться с автором книги «Россия в концлагере». Словом, я решил ехать в Париж, где к тому же жил родственник Федя Фролов, внук сестры моей бабушки по материнской линии. Он уже давно звал нас к себе в гости.

Федя, сын казака-хлебороба с хутора Евстратова, в свое время учился со мной в Усть-Медведицком реальном училище. Он был годом старше меня и в 1914-м ушел в Новочеркасское кавалерийское училище, по окончании которого попал прямо на фронт первой мировой. Потом Федя был со мною на Лемносе, откуда переехал в Болгарию, из Болгарии в 1925 году он попал в Париж, где и стал шофером такси.

В столице Франции я встретил много друзей детства и

несколько сослуживцев по Донской армии. Большинство ребят были водителями такси и, смеясь, говорили, что за эти годы настолько изучили закоулки Парижа, что, в случае чего, могли бы оккупировать французскую столицу в два счета. И, действительно, русская пресса во Франции писала, что чуть ли не половина всех шоферов в Париже русские офицеры. Так что мы были нарасхват, и ежедневно кто-нибудь из приятелей старался показать нам хоть кусочек города.

Но в моем плане была встреча с Иваном Лукьяновичем. И вот при помощи русских шоферов Федя узнал адрес какого-то Троцкого («Ну и фамилия же!» — подумал я), который будто бы знал, где живет Солоневич. На второй же день, утром, мы пустились в путь. Встретились с коренастым парнем, который снял с нас допрос: кто мы такие, зачем нужен Солоневич… Я показал ему письма из Болгарии, он смягчился и заявил, что адрес может дать нам только завтра, посоветовавшись с кем-то. Как видно, конспирация была серьезная.

Наконец, получив адрес, мы отправились искать указанную улицу. Автомобиль остановился перед подъездом, из которого выходили два человека, и в одном из них я сразу узнал Ивана Лукьяновича — он был точно такой же медвежистый, как на фотографии из книги «Россия в концлагере». За ним шел его брат Борис, а с балкона второго этажа, помню, им махал рукой огромный плечистый мужчина со скуластым лицом монгола. Это был знаменитый генерал Туркул, начальник не менее знаменитой Дроздовской дивизии. Странно было видеть этого человека в мирной обстановке…

Мы представились. Я протянул Солоневичу несколько писем его жены ко мне. Он исподлобья посмотрел на нас и тут же, у подъезда, по-русски облобызал крест-накрест.

— Наши из Праги приехали! Идите познакомлю, — крикнул Туркулу. Через пару минут страшный Туркул спустился, галантно расшаркался перед моей женой и поцеловал ей руку. Поговорив немного с нашими новыми знакомыми, мы получили личное приглашение на лекцию Солоневича о положении в России. На эту лекцию вход был строго ограничен и допускались лишь лица, заслуживающие полного доверия.

Вечером мы явились на лекцию. Большой зал был полон. В первом ряду, справа от нас, сидел высокий старик, говорливый и приветливый. Узнав, что мы из Чехословакии, он оживился.

— Я Кузнецов. Вы, наверное, бывали в русской церкви у вас, в Мариенбаде? Так вот иконостас в эту церковь подарил я. Правда, красивый? На всемирной выставке в Париже золотую медаль за него получил.

— Кузнецов? Не знаю вас, не слышал, — заметил я довольно бестактно.

— У меня дед по матери Кузнецов. Возьмите в России любую чашку или тарелку, а на донышке-то Кузнецов написано — самый большой фарфоровый завод в России был… Не знаю, как они там теперь…

Таким образом мы познакомились с одним из самых значительных фабрикантов старой России. Недалеко от нас, слева, сидел подтянутый брюнет с военной выправкой. Он что-то говорил своей соседке, располневшей блондинке лет сорока. Пара меня заинтересовала, и от Кузнецова я узнал, что это был известный генерал Скоблин, командир самого лучшего полка Добровольческой армии — Корниловского, а соседка — его жена, славившаяся когда-то на всю Россию исполнительница русских песен Плевицкая. Тогда я не мог знать, что этот преданнейший из самых преданных белой идее генерал Скоблин уже состоит на службе ГПУ и через год выдаст среди бела дня в Париже генерала Кутепова, затем генерала Миллера и вынырнет где-то на пустынных улочках Москвы, где следы его окончательно потеряются. А его супруга, помогавшая в этой акции, после долгих судов будет заключена во Французскую крепость, как преступившая законы государства, давшего ей приют.

Лекция, признаюсь, разочаровала: Иван Лукьянович принадлежал к той группе людей, которые пишут неизмеримо лучше и убедительнее, чем говорят. После нее братья Солоневичи с узким кругом их друзей и новых знакомых поехали в один из многочисленных русских ресторанчиков и пригласили нас. Расстались мы далеко за полночь, обещая встретиться снова. Но из всей этой компании я больше ни с кем так и не встретился: Туркул лежит на Русском кладбище Сан-Женевьев де Буа, под Парижем. Солоневич на пару дней заезжал ко мне уже из Германии, но писать он бросил.

Искрестив почти весь Париж вдоль и поперек, мы двинулись путешествовать по Европе. Основная цель поездки оправдалась, и спешить было некуда. А по возвращении домой меня сразу же вызвал к себе начальник округа Немечек, так называемый гейтман, с которым я дружил и который иногда посещал нас в Желиве со своей женой. Гейтман — это нечто вроде нашего окружного атамана, совмещающий в своей особе политическую и гражданскую власть района. Он, конечно, являлся представителем министерства внутренних дел, и ему была подчинена полиция.

Немечек встретил меня официально и заявил, что сейчас снимет допрос, что дело очень серьезное и при допросе будет

присутствовать только одна машинистка. Я не понимал, в чем дело. Немечек потребовал полного отчета о моей поездке за границу: с кем встречался, о чем говорил, где и у кого был во Франции, в Италии. Выслушав подробный рассказ о всех моих встречах, гейтман строго спросил:

— А каково ваше отношение, доктор, к советской власти? Я ответил:

— Господин гейтман, вы же знаете, что я эмигрант и иного отношения к этой власти, кроме как отрицательного, у меня не может быть. Почему? Да по той простой причине, что я убежден: большевики развалят горячо любимую мною Россию…

Я никогда в жизни ничего не боялся, и даже этот допрос не произвел на меня особого впечатления. Я был совершенно спокоен, так как моя совесть перед Родиной была чиста.

Но вот произошел знаменитый *аншлюс* Австрии с Германией, и пришла тревожная осень 1938-го. С населением республики проводились военные занятия, в которых деятельное участие принимал и я. Страна была предельно напряжена, готовилась к отпору. Но летом мне удалось вырвать пару недель на отпуск, и со своим дружком участковым врачом-кубанцем Жоркой Сеиным я решил отдохнуть в известном моравском курорте Лугачовицах.

Отправились туда на моей машине. Выйдя на лугачовицкие улицы, я увидел, что курорт буквально забит евреями. Евреи — барометр политической погоды — чего-то боялись и снялись со своих мест. Тут были люди и с Под карпатской Руси, и из Словакии. Взвесив обстановку, я решительно заявил Сеину:

— Жорка, немедленно возвращаемся домой — раввины снялись с насиженных мест, а это что-нибудь значит…

— А что ты хочешь делать? — спросил удивленный Сеин.

— Строиться! Сейчас же едем в Прагу, там купим план и построим себе курени. Увидишь, скоро все пойдет прахом…

Вскоре в городке Немецкий Брод, в тридцати километрах от Желива, местный архитектор отыскал поле, а еще через неделю я привез ему всю сумму денег на строительство виллы.

— Закладывайте фундамент! — заявил я, кладя деньги на стол. Архитектор растерялся:

— Это почему же? Мы, чехи, привыкли брать деньги по частям, в зависимости от того, как идет постройка. Что же я буду делать со всей этой суммой?

— А я строю по-казачьи — сразу! Вы, наверное, не понимаете, что на нас надвигаются тяжелые события. На эти деньги вы сейчас же накупите себе строительный материал — печки, трубы, доски и прочее, что вам будет нужно при следующих постройках. Надеюсь, что моя не последняя…

Архитектор Брюкнер послушался меня и потом, когда постройка была завершена в рекордный срок, а республика занята немцами, часто говорил мне, что он в жизни не строил так выгодно, как у меня. Накупленный им, по моему совету, материал во время войны многократно поднялся в цене, и Брюкнер этими запасами — уже во время протектората — пользовался на очередных постройках.

Во время протектората

А события нарастали. В один из непривычно снежных дней, а именно 15 марта 1939 года, границы республики перешли немцы. Чехословакия стала протекторатом. Из так называемой Судетской области, западной пограничной полосы республики, в центр съехалась масса беженцев, и уже осенью 1938-го вождь судетских немцев Генлейн и бывший владелец книжного магазина Карл Герман Франк начали старательно готовить приход немцев. У нас на Чешско-Моравской возвышенности было тихо. Сюда доходили только тревожные вести, да время от времени начали появляться беженцы из Судет.

Но вот однажды в Желиве появился коренастый, неандертальского вида человечек с женой и двумя детьми, которые вскоре заболели скарлатиной. Этот совершенно некультурный и озлобленный тип был назначен к нам начальником местной жандармской станции. Естественно, что все тайные документы, касающиеся местных жителей, очутились у него в руках. Прочтя отношение министерства внутренних дел о том, что я и моя семья из-за связи с Солоневичем находится под негласным полицейским дозором, он решил, что держит меня в руках. Как-то, желая исправить небольшую неточность в бюллетене, которую Кинцл допустил при лечении мной его детей, я послал к нему своего лаборанта. Он отказался исправить ошибку. Я послал снова. И тогда Кинцл влетает ко мне в амбулаторию, как дикий зверь, бьет кулаком по моему письменному столу и кричит:

— Что вы от меня хотите?! Я вас знаю наизусть и вижу вас не только тут, а и под землей! Я вам покажу неточности!..

Сообразив, в чем дело, я спокойно, но категорически попросил его оставить мою амбулаторию, а сам тут же отправился в район к его непосредственному начальнику. Нужно заметить, что такое обращение с врачом, да еще состоящим на государственной службе, было просто недопустимым. Когда я рассказал гейтману об инциденте, он искренне возмутился и дал распоряжение расследовать это дело.

— Если будет нужно, снимите его с должности. Я таких дураков у себя в районе не потерплю! — заключил начальник жандармерии. По-видимому, предполагалось, что этот неандерталец своим поведением открыл тайну полицейского надзора.

— Прошу оставить Кинцла на его месте, — попросил я, — но, пожалуйста, скажите ему, чтобы он оставил меня в покое и не мстил по своей глупости.

Начальник сокрушенно покачал головой и заметил:

— А знаете, доктор, он на вас не может иметь никакого влияния. Вы, как государственный участковый врач, находитесь в нашем непосредственном ведении. Ну, а впрочем, я сделаю так, как вы хотите.

С тех пор перепуганный Кинцл раболепно приветствовал меня чуть ли не за два квартала. Но злобу, примитивную и лютую, он затаил. Позже, в 1945 году, после своего освобождения из концлагеря, куда Кинцл попал при немцах, полуживой, он приплелся в Желив и настоял на моем аресте. В то новое для Чехословакии время даже такая незначительная личность, как этот жандарм, мог многое сделать и изуродовать жизнь любому. Однако это еще все впереди…

С приходом немцев на Чехословакию легла мрачная и тяжелая тень свастики. Чехи ходили как потерянные. Бенеш исчез за границу, а президентом стал назначенный немцами бывший председатель главного суда старичок Эмиль Гаха. Для нас, русских эмигрантов, основательно засидевшихся в Чехии, приход немцев, как ни странно, принес нечто положительное — мы перестали чувствовать себя иностранцами. Все русские эмигрантские организации немцами были распущены, но среди нас нашелся один честолюбивый и предприимчивый врач Иван Камышанский, который явился к немцам и заявил, что если они снова откроют Союз русских врачей, но уже граждан протектората, то он поведет его по рельсам, которые будут указаны. Власти на это пошли, и наш Союз снова воскрес. Камышанский был назначен лайтером, то есть руководителем этой организации, и, как оказалось впоследствии, несменяемым. Был создан и так называемый «Совет десяти», председателем которого стал талантливый организатор Федя Чекунов, наш казак. Я попал в число членов этого Совета как представитель врачей, практикующих в чешской провинции. Туда же выбрали и моего друга — кубанца, занозистого Жорку Сеина. На одном из первых же заседаний Камышанский категорически заявил, что мы, русские врачи, должны будем отчислять от своих заработков один-два процента для представительства. Я категорически

запротестовал против этого предложения:

— Да на кой черт тебе эти деньги, Иван Тимофеевич?

— Как? — удивился председатель. — А на какие деньги я буду ездить в Берлин по делам союза?

— А зачем тебе ездить в Берлин? — переспросил я. — С немцами нам не по дороге. На это дело мы не дадим ни кроны!

Камышанский со злобой выкрикнул:

— Коллега Келин! Лишаю тебя слова. Ты еще бродишь в тумане Масариковской покойной республики и не осознаешь серьезности происходящих событий!

Меня поддержало большинство врачей, а Камышанский затаил злобу.

Вскоре в Желиве поселился полковник Дастих, бывший в течение восьми лет военным атташе в Москве. С приходом немцев он, не желая служить им, ушел в отставку и купил в нашем местечке домик. По приказанию властей — под страхом смертной казни — из всех радиоприемников были отстранены приспособления для слушания известий на коротких волнах. Но опытный в этих делах Дастих имел какое-то приспособление, которое позволяло ему слушать все запретные станции. Я бывал у него почти ежедневно, и мы слушали Москву, Лондон, откуда иногда говорил Бенеш.

Как-то почтальон принес мне повестку для медицинского осмотра в Праге. Я решил оставить эту повестку без внимания, но Дастих настоял на этой поездке.

— Немцы методичны и не любят шутить, — подчеркнул он.

И вот мы с Сеиным в огромном зале отеля Палас. Тут было много казаков из всех войск, с Балкан прибыл генерал-лейтенант Абрамов — он когда-то командовал казачьим корпусом в Крыму. В кубанке с газырями прохаживался Кубанский войсковой атаман генерал Науменко. В толпе я заметил командира «Волчьей сотни» Андрея Шкуро — грозу красных тылов. За столом одной из комиссий сидел хорошо нам знакомый инженер Шелест, когда-то живший со мной в «Свободарне». Его произвели в генералы, и он уже был одет в соответствующую форму с погонами, на которых блестел импозантный генеральский зигзаг.

Нам приказали раздеться догола и после тщательного осмотра признали годными нести военную службу.

— Доктор Келин! Вы, конечно, согласны идти в германскую армию бить большевиков? — спросил один из членов комиссии.

— Нет! — твердо ответил я.

— Но почему? Вы же казак, эмигрант. Сейчас приспело время рассчитаться с той сволочью, которая опоганила Россию!

— Нет! Я не хочу ослушаться нашего вождя Адольфа Гитлера.

При образовании протектората «Чехия и Моравия» он ясно заявил, что граждане протектората, кто бы они ни были, не подлежат призыву на военную службу. Гитлер дал слово нашему президенту Гахе не трогать никого из нас. Я, как казак, человек дисциплинированный, привык слушаться начальство и не нарушу приказ вождя!

Комиссия опешила.

— Но когда же вы пойдете?..

— Когда вождь изменит свое решение и когда на службу пойдут все граждане протектората! — заключил я.

Разговор был окончен, синим карандашом против моей фамилии написали: «Пойдет по общей мобилизации…»

Во время протектората с питанием стало туго, городское население перевели на карточную систему. А у нас в деревне жилось неплохо. Я, как врач, легко мог доставать продукты у крестьян, держал кроликов, кур, много других птиц. Ко мне в Желив частенько приезжал за продуктами киевский профессор эмигрант Зеньковский.

Как-то вечером он вошел к нам запорошенный снегом и, смотря на меня сквозь запотевшие очки, говорит:

— Ну, Николай Андреевич, я никак не мог бы предположить, что вы сотрудничаете с этими отпетыми молодцами…

— С какими? — спрашиваю, удивленный.

— Да вот с этими, — говорит он и протягивает мне самостийный «Казачий вестник». Мать честная, во всю вторую страницу газеты — мои стихи!.. Без моего ведома сепаратисты Глазков и его дружина перепечатали несколько стихотворений из давно изданных книжек. Меня эта дерзость взорвала, и на следующий же день я отправился в Прагу искать редакцию той газеты.

Нашел где-то у вокзала. Врываюсь, а мне навстречу Глазков:

— Коля! Наконец-то ты у нас! Садись, рассказывай!

— Садись? — взбешенно ору я. — Да я приехал вам морду бить!

— Да за что? Помилуй! — говорит Глазков.

— На каком основании вы осмелились напечатать несколько моих стихотворений? — не успокаиваюсь я.

— Но не кипятись — ведь мы же их перепечатали из твоих книг. А ни на одной из них не было означено, что права автора сохранены и перепечатка воспрещается. Мы и Пушкина с Лермонтовым можем перепечатывать…

— Ах, вы, чертовы души, — да ведь они же давно в могиле! А мне жить с этим вот пятном дальше!

— Ну, так иди подай на нас жалобу.

— Кому? Гиммлеру?..

Конечно, жаловаться в то время было бессмысленно, самостийники дали мне слово, что больше не напечатают ни строчки из моих произведений, и, хлопнув дверью, я ушел.

Забегая вперед, скажу, что эта страничка с моими стихами, напечатанная в «Казачьем вестнике» в конце 43-го, стоила мне после окончания войны шести месяцев тюрьмы, а чехами я был объявлен «военным преступником». Могли и повесить по ошибке. Тогда эта процедура делалась легко. Вспоминая Глазкова, я полгода просидел со всякой шпаной, чистил сортиры, мыл в камерах полы, пилил дрова, заметал гумполецкие улицы. Потом выпустили, даже извинились и вернули какую-то часть конфискованных у меня во время ареста вещей. Но об этом позже.

Чехи знают своих соседей-немцев лучше, чем кто бы то ни был. Столетиями они их боялись, может быть, не без основания, и с молоком матери всосали ненависть к ним. Так что приход немцев в Чехословакию в марте 1939-го поразил население, как гром. Все ходили понурые, придавленные. Несмотря на все так называемые договоры, официальные заверения, что немцы пришли их охранять, это была самая настоящая оккупация, которая с первого же дня угнетала свободолюбивый народ. Множились анекдоты про Гитлера, шли аресты, расстрелы. Чехия глухо клокотала, и вот как-то пришла неожиданная весть, что в Праге чешскими парашютистами убит рейхс-протектор, генерал полиции и палач Рейнгард Гейдрих. Новая волна арестов и расстрелов захлестнула протекторат. Чехи притихли.

Уже давно было ясно, что немцы войну проигрывают. Они постепенно оставляли Балканы, куда вливались несметные полчища Красной Армии. Из Белграда и Софии потекли потоки русских, оставшихся там с 1921 года, а с ними повалили панические слухи о том, как красные поголовно выбивают эмигрантов и только часть отправляют в Советский Союз. Говорили, что расправа со своими бывшими врагами — белыми — у красных беспощадна!

У нас, в Чехословакии, создалось двойственное положение: чехи с нетерпением ожидали освобождения, а мы — неминуемой смерти. Многие из эмигрантов снимались с насиженных мест, бросали все и присоединялись к потоку балканских беженцев, стремящихся уйти на запад. Я не знал, что делать. На всякий случай собрал 80 литров драгоценного бензина — у меня две машины. Экономлю масло, продукты, развожу по соседним деревням тюки с картинами, прячу их у надежных крестьян, наиболее ценные вещи зарываю в саду в глубоких ямах. Все это делаю, конечно, по ночам. Потом, сообразив, что по дороге

отступающие части могут отобрать автомобиль, заказываю у местного слесаря из прочных дюралевых трубок легкую повозку, приспосабливаю ее к двум велосипедам, приобретаю еще третий велосипед — для жены, и мне кажется, что все готово на всякий случай.

С Балкан меня посещают несколько моих приятелей-казаков, бегущих на запад. Они рассказывают, что в Сербии и Болгарии, куда уже пришла победоносная Красная Армия, творится что-то страшное! К тому же вспоминаются рассказы о том, как в 1920-м не успевших уйти из Крыма более 60 тысяч белых воинов расстреляли из пулеметов неудавшийся мадьярский диктатор Бела Кун и Роза Залкинд, известная под именем Маруся Землячка. Вспоминались и рассказы о расправе в Новороссийске. Оставшихся там белых офицеров рядами привязывали за шеи к рельсам и сталкивали с мола в море. Говорят, будто бы спустя годы водолазы боялись там спускаться в воду, так как со дна поднимались гирлянды обглоданных скелетов русских офицеров… Все это за годы эмиграции впитала чуткая память, и она парализовала волю. Было жутко сознавать, что нашу семью скоро постигнет та же участь. Положение создавалось безвыходное, особенно у людей, обремененных семьей. И мне уж было не 22 года — приближалась пятидесятка. Не хотелось уходить в новую эмиграцию, начинать жизнь заново.

А немцы, предчувствуя скорый и неминуемый конец, жгли и разбивали все военное имущество, которое не могли увезти с собой. В Чешских Будейовицах и недалекой Пльзени уже стоял американский генерал Паттон. Американцы не могли перейти намеченную на Ялтинской конференции черту. Создавалось странное и непонятное для непосвященных положение: война концентрировалась вокруг Чехословакии. Центром была Прага. Здесь 5 мая 1945 года вспыхнуло стихийное восстание под руководством генерала Куттельвашера и профессора Пражака. Судьба обоих после освобождения в недалеком будущем оказалась трагической. Но тут немцы еще имели страшный железный кулак, и, не приди в разгар восстания части генерала Власова, который повернул оружие против немцев, от Праги бы ничего не осталось. Это втихомолку может подтвердить любой пражский житель. Чешское радио с утра 5 мая захватили повстанцы, и мы с замиранием сердца слушали панические призывы диктора о помощи. Американцы не смели двинуться с места, а русские были еще далеко.

Но вот в затихшую уже Прагу 9 мая влетели первые советские танки…

Как это было

А случилось это так. Истекали последние деньки чешского апреля, когда не разберешь — то ли это неуютная осень, то ли чахлая здешняя весна. Но в том году весна была необыкновенная, напоминающая нашу, русскую. Слухи о приближающейся лавине советских танков преувеличены не были. По утрам, прислушавшись, можно было различить далекие гулы — это гремела артиллерия. Люди ходили празднично радостные. А у нас в семье просто дышать было нечем от вязкого неуемного страха. К уходу на Запад я все приготовил. В гараже стояла новая «Пикола», в монастырском сарае на лесопилке «Беби». Приготовил я и бензин, и масло, в конюшне монастырского имения ждал великолепный кавалерийский конь Зигр, купленный мной вместе с седлом у немецкого офицера за десять литров спирта и несколько бутылок коньяка. Если прибавить к этому еще и повозочку, о которой я говорил, транспортная часть не оставляла желать ничего лучшего. Но как не хотелось бросать насиженное гнездо, идти в жуткую неизвестность, в новую эмиграцию…

А немцы уже были на отлете. На площади жгли военное имущество, разбивали молотами велосипеды, чудесные новые аккумуляторы. На монастырской лестнице, ведущей в зимний сад, мальчишки из «Гитлерюгенда» ломали и вдребезги разбивали винтовки. Все хмуры, неприветливы, сосредоточенны. На наших глазах опускался занавес над сценой величайшей трагедии народа, который не рассчитал своих сил и сгорел в бездонных просторах моей необъятной Родины, не поняв ее сокровенного духа.

…В наступившей горячке продолжаю лечить не только своих сограждан, но и немецких мальчишек. Заходит сосредоточенный и всегда подобранный «лайтер» — директор немецкой гимназии, размещенной в монастыре, и предлагает нам эвакуироваться вместе с ними в Германию. Он знает, что я смертельно боюсь большевиков. Предложение нешуточное. Из Праги телефонирует доктор Камышанский — предлагает послать за нами и нашим имуществом грузовые машины. Обещает дать вагон. Я отмалчиваюсь. Зовет по телефону кум, наш казак, доктор Иван Петрович Вихлянцев — он уже готов с женой и дочкой к эвакуации. Недавно Иван подарил немцам пару баранов, подушки, теплые вещи, вызвав этим глубокое недоумение чехов. Теперь же он, взяв на спину рюкзак, помахал палкой высыпавшим из санаторного здания пациентам-чехам, перекрестился и крикнул: «Ну, в добрый час! Ухожу от вас такой же голый, как и

пришел. А вы, милые, стройте социализм без меня. Доброго вам здоровья в советском раю!» Позже я узнал, что Иван вынырнул где-то в Нью-Йорке, работал хирургом в одном из самых больших госпиталей города.

Говорю по телефону с однокашником-станичником доктором Федором Чекуновым, спрашиваю, что и как? Федя категорически заявляет, что остается и никуда не поедет. Тогда принимаю решение и я: Тэудь что будет! Не хочу начинать новую эмигрантскую страду. Пусть лучше меня расстреляют или сошлют, но семья как-то будет жить. Зная замашки и привычки солдат, прошедших огонь и воду, зарываем во дворе ценные вещи, кое-что прячем на чердаке, часть развозим по деревням: в Поржичи к Краусу ящики с одеждой; два больших тюка с ценнейшими картинами — к управляющему Седлицкой электростанцией Краткому; часть литературы — к учителю Новаку. И начинаем ждать.

С востока, как перелетные птицы, уже тянутся беженцы. По дороге из Гумпольца через Желив непрерывным потоком движутся отступающие войска. Где-то между Желивом и Гумпольцем один дурак обстрелял из дробовика танковую колонну СС. Немцы насторожились и перестреляли из пулеметов девять мирных граждан, высыпавших из села и пристроившихся в придорожных канавах из-за любопытства. По долгу участкового врача я осмотрел убитых.

А возвращаясь, обратил внимание на толпу, собравшуюся у гостиницы. Это были отставшие немецкие солдаты. По дороге же в панике бежали вереницы парных упряжек с гражданским населением. И вот вдруг во все это скопление людей врывается армейский мотоцикл с коляской. Я посмотрел и обомлел: в коляске и за рулем сидели два молодых, обезумевших парня с автоматами. На фуражках у них были пятиконечные звезды…

Еле двигая непослушным языком, я тогда крикнул собравшимся вокруг обывателям:

— Русские!

Чехи окружили мотоцикл, начали разглядывать красноармейцев, хлопать их по плечам, а несколько человек бросились бить сдающихся немцев. Увидев это, один из советских заорал:

— Не смей бить! Это же пленные! Мать вашу!.. Разочарованные жители Желива начали медленно расходиться, и я, не чувствуя под собою ног, поплелся домой сообщить ошеломляющую новость.

В Желиве вскоре образовали так называемый национальный комитет. Председателем его назначили Иноценца Заплетала,

бывшего предпринимателя по цементным работам. По дороге из Гумпольца пошли красные войска, бесконечным потоком потянулись какие-то архаические повозки, запряженные парами лохматых лошаденок. Мы замкнули дом, и на чердаке я устроил логово для спанья. На всякий случай сделал выход-лаз прямо к реке. Ожидали насилий, бесчинств, что было не без оснований…

А под одной из огромных столетних лип, что против монастырского собора, уже расставлялись столы. Местные женщины готовили угощение для офицеров. Стелили скатерти. Проходя по монастырской площади, я разговорился с одним офицером, судя по всему сотрудником госбезопасности.

— Где вы так хорошо научились говорить по-русски? — все допытывался он.

— Да я же русский. Военнопленный. Остался тут после первой мировой войны, женился и вот… — брешу, не сморгнув глазом, и прошу нас сфотографировать. Тут подходит еще какой-то офицер и, смеясь, бросает:

— Лучше от него подальше! Уж если этот снимет, то всю жизнь помнить будете…

Теперь вот, вспоминая прошлое, с тяжелым сердцем перебираю эпизоды 1945 года. Тогда рушились все надежды и оставалась только горечь и унизительный животный страх.

Как-то возвращаюсь домой через монастырь. Внутренний двор забит повозками, и вот от перегруженной тачанки отделяется невзрачный мужичонка-красноармеец и, обращаясь ко мне, говорит:

— Послушайте, господин, нет ли у вас часиков? Никак не могу достать. Мы ведь обозные… Покель придем к чему, ан уж все растребушили. Значит, придется с войны являться без часов. Дай, Христа ради, какие есть. Я тебе за это всю повозку с консервой отдам…

Но мне не до часов, не до консервов — душа в пятках.

— Нет у меня лишних часов, — говорю.

Мужичонка сокрушенно пожимает плечами и вдруг протягивает мне несколько коробок консервов в подарок. Эх, видно, осточертела ему и эта война, и обоз, и консервы. Прихожу домой, открываю одну из банок — свиное топленое сало! Да еще какое!..

Но вот в конце мая, помню, побродив, как обычно, по Желиву, я вернулся домой и в ординации, где принимал больных, увидел перед амбулаторией трех жандармов, сидящих на перилах террасы. Это были служащие местного полицейского участка.

— Кто-нибудь из вас болен? — спрашиваю.

Они, покуривая и улыбаясь, просят меня осмотреть больных.

— Мы подождем, мы не спешим…

У меня, как ни странно, даже не мелькнула мысль, что пришли за мной. Отпустив последнего больного, выхожу в приемную и приглашаю:

— Прошу.

Один из жандармов, усмехнувшись, бросает:

— Нет, теперь вы пойдете с нами. В полицейский участок!

В полиции смотритель тюрьмы чех Вондрачек передает меня советскому сержанту-мальчишке с орденами.

— Келин! Идите сюда. Вас берут русские, — объявляет он, и меня привозят в караульное помещение.

Узкий подвал без света. Горит маленькая электрическая лампочка, в глубине торчат нары. Вверх ведут каменные ступени… В скором времени сюда сталкивают моего станичника доктора Сеина и, кажется, на второй или третий день привозят моего зубного техника, полумертвого от страха, Сашку Определеннова. Сидим на каменных порожках, перекидываемся пустыми фразами — гадаем, строим предположения. Зная повадки наших соотечественников, на будущее смотрим мрачно.

И вот первый допрос. Встречает меня аккуратненький мальчик — младший лейтенант. Смотрит безучастно и говорит:

— Садитесь! Вот бумага, перо, чернила. Опишите всю вашу жизнь, только поподробнее. Как попали в Чехословакию, что делали… Я часика через два приду.

Сажусь за стол и пытаюсь изложить на бумаге все, что знаю о себе. Пишу разборчиво и торопливо. Не помню точно, сколько написал, думаю, не менее 30–40 страниц.

На следующий день меня повели на допрос в главную канцелярию. Как я узнал потом, следователь Багновский, бывший монтер, совершенно неинтеллигентный тип, распахнув настежь дверь и театрально изогнувшись, ехидно прошипел:

— Наконец-то мы вас достали, доктор Келин… Да-а-ас, теперь поговорим — есть о чем.

Интонация и театральность позы произвели на меня очень тяжелое впечатление. Сжалось сердце. Я приготовился к допросу. Не помню уже теперь, о чем выспрашивал меня этот некультурный и грубый человек. Выходя от Багновского, я понял, что меня расстреляют. Вспоминаю, как в тот же день во время допроса в комнату вошел довольно красивый, лет тридцати, смуглый майор-еврей. Об этом типе речь впереди. Эта бестия много крови перепортила мне и моей семье. Да и гумполецким фабрикантам немало досталось: он обложил их натуральной данью и владел промышленным городишком неограниченно, как азиатский хан. По городку майор ездил в чудесном, где-то,

понятно, реквизированном экипаже, запряженном парой прекрасных белых лошадей. А тогда, в день допроса, он рявкнул Багновскому:

— Какого черта вы портите бумагу на этого Келина? Я все равно все порву! На него пули жалко — веревку! — потом, обращаясь ко мне: — Послушайте, почему вы писали против нас? Вот если бы вы такие стихи для нас писали, — мы засыпали бы вас золотом. А так вот — повесим, как собаку… мать!

Взглянув на майора, я ответил:

— Вы же знаете, что, стоя на ином берегу, я не мог писать иначе. Бытие определяло сознание и темы моих стихов…

Кстати, фамилия того наглого майора Гончарук, а иногда его называли Поповым. Как правильно — не знаю. Вполне вероятно, что свою настоящую фамилию знал только он один.

Через несколько дней меня перевезли моим же реквизированным Красной Армией автомобилем в дом фабриканта Смрчки, где обосновался Гончарук. Тут производили какие-то формальности. В одной из комнат ко мне подсел молоденький артиллерийский офицер в дорогой для меня форме — черный бархат на петлицах, пушки, и я невольно вспомнил свою безвозвратно ушедшую молодость, годы, проведенные на фронте в боях за Родину…

Потом меня выгнали во двор, и взвод каких-то звероподобных солдат в старых русских шинелях, с допотопными винтовками при трехгранных штыках — и где они их только взяли? — под командой белобрысого сержанта погнал меня к развалинам замка Орлика, в балку. Молнией обожгла мысль — ведут на расстрел… Посмотрел на синее небо, на солнце, простился с жизнью — и вдруг стало как-то необыкновенно легко. Все показалось таким далеким, ненужным, и я покорно зашагал за город, подталкиваемый сзади трехгранными русскими штыками.

Привели меня мужики в балку, пошептались о чем-то, поматерились и вдруг, ни с того, ни с сего, повели обратно, к Гумпольцу. От Градской повернули в проулок, к дому № 848, принадлежащему чешскому почтальону Гауберту. Несколько окон этой новенькой и опрятной виллы были наспех опутаны колючей проволокой. Во дворе мотались солдаты стражи и, как виселица, торчали большие качели с веревками на перекладине. Сержант что-то буркнул и исчез, а я уместился под качелями, будучи совершенно уверен, что по приказу майора Гончарука на меня, действительно, пожалели пулю и сейчас будут вешать. Что говорить, перспектива качаться на перекладине с высунутым языком — не из радужных. И ожидание — одна из самых страшных пыток. Но поистине пути Господни неисповедимы —

оказалось, что сержант ходил не за табуреткой для казни, а за ключом от реквизированной под временную гауптвахту виллы Гауберта.

В тот же день, как сейчас помню, в воскресенье, меня усадили в грузовик и под охраной двух красноармейцев с автоматами повезли куда-то. Раз или два останавливаемся на перекрестках Гумпольца, где меня знает каждая собака. Улицы полны празднично одетой толпой. На остановках чехи окружают наш грузовик. Я, сняв шляпу, здороваюсь с моими многочисленными знакомыми, но ни один человек не отвечает на приветствие: такова природа людей…

А на русских солдат здесь пока что молятся. Им позволено все, и они это чувствуют. При выезде из Гумпольца стоит деревушка Роскошь. Тут у дороги гостиница. Гремит музыка. Грузовик останавливается на полчаса, и мои провожатые, чередуясь с шофером, исчезают в зале гостиницы, пьют и, окруженные ликующей толпой чехов, снова возвращаются на свои места.

Вот и городок Немецкий Грод. Тут у меня великолепная вилла, выстроенная в начале войны. Шофер, по-видимому, не знает дороги и ведет машину на площадь. Слышу, как спрашивает дорогу на Ждяр. Это центр чешской Сибири, лежащий на границе Чехии и Моравии. Покружив по улицам, грузовик останавливается у какой-то виллы, где разместился СМЕРШ, и вскоре я оказываюсь в погребе, где на мокром бетоне лежит какой-то человек. Дверь захлопнулась, и в полутьме я узнаю советского сержанта. Познакомились, кое-что рассказали друг другу о себе. Парень оказался служащим интендантства; что-то, по его словам, продал казенное и вот уже неделю сидит в этом склепе. Впрочем, на второй день его увели. А меня вызвали на допрос к старшему лейтенанту Юсуфу-Задэ…

Допросы бывали ежедневно, обычно по ночам, длились они по 10–11 часов без перерыва. Я сидел на стуле посередине комнаты, а старший лейтенант время от времени ложился на кушетку, курил, слушал радио и просил меня обдумывать ответы на поставленные вопросы. Я уже рассказал ему всю мою жизнь, но он категорически требовал от меня признаний в принадлежности к какой-то партии, выяснял мой политический облик.

— Послушайте, доктор! Скажите определенно, каковы ваши политические убеждения? — настаивал Юсуф-Задэ.

— Но я же сказал вам, что ни в политике, ни в партиях никогда не разбирался. Меня всю жизнь интересовала только медицина и мои больные люди, их жизнь, — объяснял я. — Повторяю, я очень люблю мою специальность, и ничто другое

меня не интересует.

Юсуф-Задэ уже не выдерживал:

— Вы, доктор, не валяйте дурака! Окончили университет, да еще Пражский, — ив политике не разбираетесь? Я знаю, кто вы. Вы — буржуазный националист!

И вот я снова в моем погребе. Снова смотрю в узенькое окошечко под потолком, где, кроме ног шагающего часового, ничего не видно. Нет даже кусочка неба… Ощущение жуткого одиночества, беспомощности и полной безнадежности. Вспомнились страшные рассказы о советских тюрьмах и их порядках. Когда-то, читая книгу эмигрантского писателя о Дзержинском, Ягоде и Ежове, я холодел от ужаса. Но особенно потрясла меня книга Солоневича «Россия в концлагере», где он описывал ужасы, перенесенные им в страшных лагерях ГУЛага. Я разговаривал с автором этой книги много раз, и у меня не было никаких оснований не верить ему. Но я уже не так боялся за свою жизнь — мне было нестерпимо жаль маленького сына Алешку, старшего — добряка Юрку и мою жену, которая совершенно не была приспособлена к самостоятельной практической жизни. Мне казалось, что без меня они сразу погибнут…

Но время шло. Допросы продолжались. И вот в одну из ночей, уже к утру, видя безвыходность положения, я сказал Юсуфу-Задэ:

— Зачем мне подписывать галиматью, которую вы написали в этом неправдивом протоколе, если вы меня все равно расстреляете? Расстреливайте без моей подписи!

Тогда следователь подвинул ко мне стопку бумаг с протоколом и раздраженно сказал:

— Вы, доктор, вымотали из меня всю душу! Мы, конечно, вас расстреляем, но без этой формальности — вашей подписи — сделать это пока не можем. Помните, я не отстану от вас. Вы подпишете протокол! — Старший лейтенант лег на кушетку, закурил и включил радио.

Мне как-то вдруг все стало безразлично, я подошел к *столу* и подписал свой смертный приговор — подтвердил преступление, которое не совершал.

— Теперь можете идти в подвал, — распорядился следователь. Когда за мною захлопнулась дверь, лежа на мокром бетоне, я понял, что совершил что-то непоправимое, и тогда я стал на колени и принялся исступленно, как никогда в жизни, молиться. Я просил Николая Угодника сделать чудо и сохранить мне жизнь. Не знаю, была ли услышана моя молитва, но то, что произошло вскоре, я не могу назвать иначе как чудом. Об этом расскажу немного позже, а сейчас вернемся в мою мрачную тюрьму.

Нового свидания с Юсуфом-Задэ я так и не дождался. Ночь прошла, как в кошмаре. Часов в семь утра послышались быстрые шаги по каменной лестнице, ведущей в подвал. Повернулся ключ, открылась дверь, и красноармеец повел меня наверх. Перед домом стояла таратайка, запряженная парой румынских лохматых лошаденок. На дне повозки было набросано сено, и человек с автоматом приказал мне садиться сзади. Сам он взгромоздился на козлы к кучеру. Скамейки не было. Я прислонился к грядушке, красноармеец свистнул и погнал лошадей по улице.

В нескольких километрах за Ждяром, откуда меня везли, нас догнала повозка, запряженная в дышло. На козлах сидел красноармеец, обняв какую-то бабенку. Они весело болтали между собой, баба время от времени визжала. Мы ехали молча. И вот где-то на спуске горы солдат, по-видимому, занятый соседкой, не сдержал лошадей, повозка налетела на нас, и меня дышлом ударило в затылок, да так, что я на некоторое время потерял сознание. Когда очнулся, услышал крик и страшную многоэтажную ругань моего автоматчика:

— Ты что, сволочь, нюни распустил со своей курвой? Не видишь, что арестованного везу? Я за него в ответе, а ты его чуть не убил, болван! Вот пущу в тебя очередь!

Несмотря на туман и боль в голове, у меня тут мелькнула мысль, что коль за меня еще заступаются, то не все еще потеряно… Не хотелось верить, что Юсуф-Задэ мог единолично вывести меня в расход. К тому же я ведь чехословацкий гражданин… Но это, конечно, было слабое утешение. Как узнал позже, многих моих знакомых и друзей, тоже граждан Чехословацкой Республики, увезли на десятилетнюю каторгу в Сибирь, а некоторых расстреляли где-то около Праги.

Наконец к полудню повозка въехала в небольшое районное местечко, где был окружной суд и стоял штаб политического отдела Украинского фронта. Тут билось сердце СМЕРШа. «Походная Лубянка… — мелькнуло в голове. — Что-то будет?..» Один из моих провожатых, предъявив документы часовым, исчез в подъезде. Не возвращался долго. Пожалуй, часа через два он вышел из здания суда с сержантом, который сердился, что меня привезли к ним, объяснял, что у них тут и без меня все забито арестованными. Но мой провожатый не уступал:

— Возьми! Не повезу же я его назад…

Сержант сдался, я побрел за ним в новую неизвестность и вскоре очутился в большой комнате, до отказу набитой людьми. Это были солдаты и офицеры Красной Армии, в большинстве бывшие военнопленные, пригнанные сюда из немецких лагерей.

Сюда же позже пригнали пражских гимназистов — активных членов эмигрантской патриотической организации «Русский Витязь». Все они впоследствии бесследно исчезли. Говорили, что ребят расстреляли.

Комната, в которой я очутился, не имела никакой обстановки. В углу — вонючая параша, куда было разрешено только мочиться. Два окна во двор — подходить к ним было строжайше запрещено. В помещении стояла тропическая жара от сбившихся в кучу тел. Люди сидели вдоль стен и лежали вповалку на грязном полу.

Ежедневно несколько человек вызывали на допросы. Когда они возвращались, их окружала толпа, выспрашивала все подробности допроса и тщательно критиковала ответы. Тут я убедился, сколько нужно было пережить и испытать немудрящему русскому мужичку, какую нужно было пройти жизненную школу, чтобы так четко и безошибочно уметь разбираться во всей казуистике современной юриспруденции. Я был рад, что попал в русскую среду, в самую ее гущу, но мне делалось жутко оттого, насколько мировоззрение в чем-то обвиняемых людей было ограниченно и односторонне. На меня они смотрели, как на человека с Луны, и почему-то были уверены, что я, по меньшей мере, профессор. Целыми днями и ночами около меня звездочкой лежали группы по 6–8 человек и просили меня рассказывать им о тысячах вещей — о французской революции, истории России, царе, Бисмарке, чужих странах. И я рассказывал полушепотом, охрипшим голосом.

Несмотря на то, что к окнам подходить было строго запрещено, мы все же ухитрялись, прижавшись к стене, наблюдать, что делается во дворе. Заранее было договорено, что те, кто уже был осужден, по дороге в уборную будут знаками показывать срок наказания: одна рука на груди — 10 лет, скрещенные руки — 20 лет, рука на голове — расстрел.

На второй или третий день после водворения в камеру предварительного заключения СМЕРШа меня вызвали на допрос. Войдя в огромный зал, я замер от удивления: за составленными в ряд столами восседал целый ареопаг — не менее 30 человек. Перед столами стоял одинокий стул, куда меня попросили сесть. И тут я заметил свой маленький фибровый чемоданчик, стопку книг с моими стихами, большинство которых было явно антисоветского характера. Рядом лежала неразрезанная книга Гитлера «Моя борьба» в русском переводе. Кстати, она была почти в каждой чешской семье, но я из-за вечного недостатка времени за все шесть лет протектората не удосужился ее прочесть. Офицеры из рук в руки передают мой заграничный паспорт, с

которым я исколесил почти всю Европу. И вот первый вопрос:

— Скажите, доктор, вы были дипломатическим курьером?

— Нет. Почему вы так думаете? — спрашиваю удивленно.

— Но как обыкновенный гражданин мог посетить почти все страны Европы?

— Да у нас каждая учительница могла ехать куда хотела, — ведь всюду близко. А для меня и недорого — я имел большую практику и хорошо зарабатывал.

— Говорят, что у вас в городе собственный дом? Откуда вы взяли на это деньги?..

Пришлось популярно объяснить, и, кажется, смершевцы были удовлетворены ответом. Но все-таки более всего заинтересовал мой заграничный паспорт. Иных существенных вопросов не задавали, меня вывели в соседнюю комнату, и часа через полтора кто-то крикнул из зала:

— Сержант! Приведите арестованного.

Войдя в зал, я увидел, что ареопаг исчез, а за столом сидел один уставший капитан в пехотной форме. Он долго молча смотрел на меня. Потом взял протоколы моего допроса и вдруг спросил:

— Это ваша подпись? — Да!

— Почему вы это подписали? Ведь это же ваш смертный приговор…

— Но я должен был это подписать. Старший лейтенант Юсуф-Задэ сказал, что моя подпись не имеет никакого значения и что меня все равно расстреляют. То же самое мне уже сказали в Гумпольце майор Гончарук и лейтенант Багновский.

Капитан вспыхнул:

— Откуда вы знаете фамилию нашего сотрудника Юсуфа-Задэ?

— Очень просто. Допросы продолжались по многу часов, и Юсуф-Задэ иногда выходил из комнаты, оставляя папку с протоколами. На ней была написана его фамилия.

Капитан успокоился и поинтересовался, показывая на книжки моих стихов:

— А вы любите казаков, доктор?

Я со всей убедительностью и экспансивностью, на которую был способен в моем положении, ответил:

— Ах, товарищ капитан… Если бы вы знали казаков, если бы хоть чуть пожили между ними, вы увидели бы, какие это чудесные люди!..

Капитан зорко взглянул на меня, медленно процедил:

— Да я ведь сам… казак.

Вскочив, я сделал шаг к столу и крикнул:

— Да не может быть! Какого войска? Станицы?

— Я терский казак, по образованию инженер. Бывший беспризорник, — закончил он и закурил папиросу.

— Товарищ капитан! Умоляю вас, спасите меня, сохраните мне жизнь… ради маленького сына… Пропадет без отца…

Капитан пристально посмотрел на меня и словно отчеканил:

— Доктор! Я занимаю высокое положение, которое обязывает меня быть совершенно объективным. Повторяю, по-моему, вы совершенно не тот человек, как это написано в протоколе. Я сниму с вас допрос сам. А тогда посмотрим…

На второй же день меня вызвали в зал суда на допрос. Сержант сдал меня старшему лейтенанту, и тот, перелистывая мой объемистый протокол, начал что-то писать. Потом сказал:

— А теперь слушайте новый протокол. Я, такой-то, там-то родившийся, заявляю, что никогда не изменял своей Родине и за границей не вел подрывную работу против Советского Союза…

Посмотрев на меня, старший лейтенант спросил:

— Правильно? Согласны с тем, что здесь написано? Я, просияв, выдавил из себя:

— Конечно, согласен. Это же сущая правда!..

Прошло еще два дня. И вот настало то утро, которое в памяти моей навсегда.

— С вещами! — услышал я команду, обращенную ко мне. Какие там вещи!..

Капитан С. С. Ковылин, мой спаситель, хотел доставить меня до Гумпольца на своей машине, но его вызвали на какое-то торжество в дивизию. На всякий случай я попросил у Степана Сергеевича документ о моем освобождении и сохранил его, спустя годы. Вот он:

> Справка
>
> Доктор Николай Келин из Желива у Гумпольца с 19 мая по 12 июня 1945 года находился под стражей и за отсутствием инкриминирующих данных из-под стражи освобожден с обязательным восстановлением во всех гражданских и служебных правах.
>
> *Начальник отд. воинской части 02440 Капитан Ковылин.*

До дома меня довез лейтенант Орлов. Дверь в доме была открыта настежь, и первой меня встретила Жофка, наша прислуга. По ее словам, жена с сыном Юрой ищут меня по всей республике и еще вчера выехали в Моравию. Оторвавшись от плачущей Жофки, я вошел в столовую. На кушетке в длинной

розовой рубахе стоял мой Алешка, а рядом на вольтеровском кресле большая сумка с его вещами.

— В чем дело, Жофка? — спросил я и услышал совсем неутешительное:

— Только полчаса тому назад от нас ушли два красноармейца — они тут спали. Обещали скоро вернуться. Сказали, что вас пошлют в Сибирь на лесозаготовки, жену тоже куда-то поместят, а Юрку отправят в Красную Армию. Приказали собрать все необходимые вещи Алеши. Его увезут в Союз…

За мною стоял лейтенант Орлов, и я беспомощно оглядывался на него, ища поддержки:

— Виктор! Что же я буду делать?.. Ведь придут… Останься тут со мною — страшно…

Но Орлов и не к таким положениям привык. Он сказал мне, что еще вечером должен вернуться в Нове Место. Попросил у меня спирту, я дал три литра, и он укатил. Единственной моей надеждой и обороной против возможного нового ареста была бумажка из СМЕРШа, подписанная капитаном Ковылиным. Но она как-то не успокаивала меня, я знал, что любой красноармеец в любой момент мог у меня ее отобрать.

И вот утром я решил отправиться в Прагу и сделать там, на всякий случай, несколько копий и засвидетельствовать их у нотариуса. Часов в шесть встал и побежал к почте. Навстречу проносилось много военных и гражданских машин. Не добежав до почты, я увидел, как из остановившегося грузовика соскочила женщина. Это была Оля… Увидя меня, она ахнула и бросилась в мои объятия. А я в двух словах объяснил обстановку, сказал, что домой не пойдем, а сию же минуту едем в Прагу — к нотариусу…

Как я и предполагал, нашу семью в покое не оставили. Чуть ли не ежедневно ко мне являлись чешские жандармы, заявляя, что какой-то советский офицер, не желая назвать своего имени, требует для просмотра бумажку, выданную мне в СМЕРШе. Я категорически отказывался выдать ту справку. Так повторялось несколько раз. А однажды к нам явился незнакомый парень и подал мне письмо. Вскрыв конверт, я увидел, что письмо было написано по-русски малокультурным человеком. В нем неведомый мне «друг» писал, чтобы я явился в одиннадцать часов вечера в монастырский лес, расположенный в пяти километрах от Желива. Письмо было подписано незнакомой мне фамилией, а в конце стояла приписка, что если я не приму всерьез предупреждение таинственного «друга», то буду убит. Никуда я, конечно, не пошел. А год спустя узнал от нашего жандарма Лукаша, что, если бы я тогда ночью явился в лес, в меня выпустили бы очередь из автомата.

После возвращения из СМЕРШа меня постоянно преследовал вопрос: что все-таки сработало в столь счастливом исходе моей встречи с этой организацией? Ведь уже одного того, что я — бывший казачий офицер, в те горячие времена было достаточно, чтобы меня или «шлепнули» или, в крайнем случае, увезли. Почему в Ждяре Юсуф-Задэ поставил на мне крест, а моя судьба чудодейственно изменилась при переводе меня в главный штаб СМЕРШа в Нове Место? Объяснение нашлось скоро.

А дело было так. За день до моей вынужденной подписи насквозь ложного протокола Юсуф-Задэ с каким-то полковником явился к нам в Желив. В то время жена с сыном и прислугой жгли в трех печах «компрометирующий» меня материал. Помогал им и трехлетний Алеша — растаскивал бумаги по комнате, перебирал в этой огромной куче газеты. И вдруг, вытащив журнал в светло-голубой обложке, передал его матери.

— На, мама, читай!

В ворохе бумаг были журналы и с яркими, кричащими обложками, которые, как известно, скорее привлекают внимание детей. Но Алешка выбрал именно тот — голубенький, скромный. Это был номер «Казачьего голоса», издаваемый в Париже самостийной казачьей организацией под редакцией калмыка Шамбы Нюделича Балинова. Чтобы отвязаться от назойливого мальчишки, жена взяла у него журнал и открыла наугад страницу. И сразу же Оле бросилась в глаза моя подпись под статьей «Доводы против нас», в которой я осуждал самостийность и советовал казакам держаться России. Бегло пробежав текст, она положила «Казачий голос» на библиотечный шкаф с мыслью, что статью прочтет позже. И вот, только она дожгла ворох печатного, материала, как в комнату вошли Юсуф-Задэ с полковником и лейтенантом из отделения Ждярского СМЕРШа.

А дальше все произошло также довольно удивительно. Начав обыск, лейтенант сразу же взял в руки тот журнал. Открыв его, он напал на статью, подписанную моей фамилией.

— Вот, товарищ полковник! Видите, а доктор уверял, что никогда не писал прозой…

Смершевцы взяли еще несколько незначительных книжек и укатили. А этот журнал, как я узнал позже, полковник приложил к остальному сопровождающему меня материалу. Статья в какой-то мере реабилитировала меня, и фортуна повернулась ко мне лицом…

А жизнь продолжалась. Незаметно исчезли танки Васьки Кобелева, уехал Гончарук, навсегда исчез Степан Ковылин. Жизнь как будто входила в нормальную колею, но вдруг газеты запестрели сообщениями о каких-то декретах, малом и большом,

которые обнародовало правительство президента Бенеша. Цель тех декретов была одна: профильтровать чешский народ через густые сита и отделить козлов от овец. Козлами считались люди, действительно или хотя бы предположительно работавшие с немцами во время шестилетней оккупации республики. Большой декрет грозил веревкой, в лучшем случае — многолетним тюремным заключением. Армия республики восстанавливалась, в Желив пришли чешские солдаты и разместились в здании монастыря. Начальником гарнизона стал капитан Вотруба, который иногда заходил к нам. Мне предложили быть гарнизонным врачом, на что я, конечно, согласился.

Наступало время первого послевоенного Рождества. Актив гарнизона готовился отпраздновать традиционный в Чехии праздник святого Николая. Накануне праздника, вечером 5 декабря, ко мне зашел капитан Вотруба и за ужином пригласил всей семьей на вечеринку в монастырь. Между прочим сообщил, что у него были офицеры военной контрразведки из Праги, что-то расследовали и сказали, что скоро в Желиве будут сенсационные аресты.

— Не меня ли снова собираются взять, господин капитан? — спросил я.

— Да, был разговор и о вас. Но я дал отличный отзыв и могу вас уверить, что все в порядке. Ваше назначение гарнизонным врачом подтверждено, и вы можете не беспокоиться, — ответил Вотруба, а утром, 6 декабря, в день моих именин, в амбулаторию вошли несколько незнакомых мне жандармов. Толстяк Пржибыл, начальник жандармского управления, надулся и строго объявил:

— Доктор, именем республики вы арестованы! Сейчас же сдайте оружие! Поднимите руки!

В недоумении я поднял руки и ответил:

— У меня нет оружия. Всю жизнь моим оружием были термометр, шприцы и стетоскоп. Думаю, что происходит печальное недоразумение…

Пржибыл профессиональными движениями ощупал меня, убедился, что я действительно безоружен, и принялся за обыск.

Неприятное это дело — арест. Он напрягает все нервы, рвет их, человек чувствует себя таким маленьким и ничтожным, что становится стыдно за государство, которое приказывает надлежащим органам творить это насилие. Меня арестовывали шесть раз: два раза на белом Дону, три раза в возрожденной Чехословацкой Республике и раз в Советском Союзе. И каждый раз ни за что — только потому, что власть вооружена и должна быть бдительной. Если бы сосчитать, чего стоили эти незаживающие психические травмы… На своем горьком

жизненном опыте я убедился, что в полиции и вообще в органах охраны государства и его граждан должны быть люди только с высшим образованием, высоко квалифицированные, чуткие, а не с бору сосенки.

Тогда, после обыска, меня отвезли в небольшую Гумполецкую тюрьму. Посадили в общую камеру, где помещалось не менее 25 человек, так называемых «врагов народа». На грязном полу валялись замызганные, полные блох, запачканные засохшей кровью матрасы. Стены тоже были покрыты брызгами крови — следы первых арестов, когда тех «врагов» встречали особенно заботливо — били чем попало и точными ударами выбивали изо рта протезы вместе с остатками зубов. Так приняли Бамбаса — ничем не заметного мужика-рабочего, ни в чем, конечно, не виноватого. Особенно «опасным» заключенным был старый немец Вильдт, оставивший после себя так называемую «Вильдтову линию» — ряд примитивных окопчиков, которые, по мнению этого чудака, должны были преградить путь Красной Армии в Гумпольце.

Однажды в камеру, где я сидел, вошел небольшой желчный человечек с бледным, испитым лицом фанатика. Как я узнал позже, это был испанский интербригадник Иосиф Гушек, который потом занял в Праге высокую должность председателя антифашистской лиги. Он округлится, раздобреет на хороших хлебах, и я, видя его на экране телевизионного аппарата, удивлялся, как люди могут меняться, приспосабливаясь, пригреваясь у теплых местечек. Тогда же, при первой встрече, это был поистине зверь в облике человека. Войдя в камеру, он строго крикнул на меня и приказал стать лицом к стене. Я должен был стоять, не оглядываясь, а тем временем Гушек приказал принести в камеру несколько табуреток, на которые положили моего соседа, и тут же послышались тяжелые удары по чему-то мягкому и раздался нечеловеческий рев избиваемого. Били *долго* и упорно. Я напряженно ждал, когда очередь дойдет до меня. Но истязание прекратилось, Гушек, указывая на меня, спросил тюремщика:

— А этот за что сидит? — и, не получив ответа, ушел.

Иногда меня вызывали на допросы. Обычно допрашивал молодой судья доктор Катцер, который теперь переменил свою фамилию на Коваля. Это был исключительно мягкий и добрый человек. Он прямо сказал мне, что не знает, почему я сижу и в чем меня обвиняют. Допросы были вялые, пустые и совсем не революционные. Раз меня допрашивал и жандармский капитан Пржибыл, который меня арестовывал. При допросе он ядовито заметил:

— Ну и умеете же вы, доктор, защищаться. Вас никак, ни на чем не поймаешь…

— Мне защищаться легко, — ответил я. — В жизни я никогда ничего не делал противозаконного.

Приближался май 1946 года. Мой участок был уже полгода без врача, население волновалось, не понимая, за что меня держат в тюрьме. И вот мои постоянные пациенты начали собирать подписи под прошением о моем освобождении. Говорили, что набрали их несколько сот, но кто-то из так называемых активистов-демократов уничтожил все листы с собранными подписями. Люди этого типа терпеть не могли русских — ни белых, ни красных. Впрочем, и между ними встречались исключения. В начале мая я узнал, что крестьянин из деревушки Вржесник Франтишек Копиц собрал подписные листы и поехал хлопотать за меня в Кутную Гору — центр, где происходили суды по новым декретам. Жена тоже много раз ездила и в Прагу, и в Кутную Гору с просьбой поскорее расследовать мое дело. По словам лиц, к которым она обращалась, подобными делами были завалены все канцелярии, и следственные власти не представляли, когда они со всем этим разделаются.

И вот, в начале мая, меня вызывают к главному врачу. Бросив на меня взгляд, он как бы сожалеюще говорит:

— Позвал я вас сюда, доктор, затем, чтобы сообщить об экстренном распоряжении из Праги. Вас, как очень опасного преступника, сегодня же перевезут в центральную пражскую тюрьму на Панкрац. Приготовьтесь к отъезду — там с такими, как вы, не шутят: попадете в строжайшую изоляцию…

Я стоял, как громом сраженный. Думал — вот и конец… Но вдруг из-за занавески, отделяющей часть кабинета, шумно выскочил Нетик, чиновник финотдела, который помогал врачам составлять счета для уплаты налогов. Он бросился ко мне на шею и заорал:

— Доктор, доктор. Мы пошутили — вы свободны! Сейчас телефонировали из суда, что вы хоть сию минуту можете идти домой! Поздравляю!

Но моя Голгофа еще не кончилась. Хотя я и был по распоряжению из Праги выпущен на свободу, но все лица, бывшие под следствием, подлежали еще так называемому «очищению» или легкому наказанию по малому «ретрибучному» декрету, изданному Бенешем в 1945 году. Но я так и не понимал, за что же отсидел полгода в тюрьме — мне ведь не было предъявлено никакого обвинения.

И вот в районной жандармерии передо мной довольно

объемистая, распухшая от справок и протоколов, касающихся меня, папка. Прапорщик листает бумаги в этой папке и, к моему удивлению, останавливает внимание на номере газеты «Казачий вестник», где были опубликованы в 1942 году те три моих стихотворения.

Выразительно посмотрев на меня, прапорщик переводит взгляд на страницу со стихами и коротко заключает:

— Понятно? Но помните, я вам ничего не показывал…

Так самовольная перепечатка моих стихотворений обошлась мне массой неприятностей и шестью месяцами тюрьмы. Казалось бы, все прояснилось и мои мытарства закончились. Но это только казалось.

Как-то с женой и сыном мы приехали по делам в Прагу. Это была уже третья или четвертая поездка туда после моего освобождения из гумполецкой тюрьмы. Как обычно, остановились у Бе-ранка, было это уже глубокой осенью 1946 года. И вот часов в пять утра меня разбудил стук в дверь номера. Открываю ее и вижу перед собой дуло револьвера. Полицейский строго спрашивает:

— Вы доктор Келин? Руки вверх! Вы арестованы… Умудренный опытом, я снимаю с руки часы, выкладываю на ночной столик связку ключей, целую Олю и ухожу. Два полицейских ведут меня в местный участок на Виноградах и передают дежурному. Там узнаю, что угодил уже в список военных преступников, разыскиваемых чехословацкой полицией. А это значит, что разбираться будут в главном полицейском управлении. И снова какие-то папки, бумаги, протоколы… Моего дела в управлении не оказалось. Картотека, в которой рылся чиновник, действительно содержала дела военных преступников, а мое спокойно лежало в Гумпольце. Желая помочь чиновникам в решении вопроса, я вытащил из бумажника удостоверение, выданное прокуратурой народного суда, где значилось, что я был освобожден за неимением улик и восстановлен в гражданских правах. Он посмотрел на меня и с досадой сказал:

— Почему же вы этот документ сразу не показали? Дело в том, что в спешке вас поместили в список военных преступников, опубликованный в «Полицейском вестнике». А потом просто забыли вычеркнуть из того списка. Подождите, я сейчас сделаю на вашем удостоверении пометку, чтобы вас не смели больше задерживать. Простите за недоразумение — работы много.

Такой вот юмор по-моравски. Почти как у нас, в Стране Советов…

Встречи с Шолоховым

В 1956 году, то есть спустя три года после смерти Сталина, я начал хлопотать о разрешении поездки на Родину, которую не видел 36 лет. Для этого нужно было получить приглашение на въезд в Союз и разрешение на выезд из Чехословакии. Как ни странно, новыми властителями, как и при Гитлере, производилось исследование всей подноготной просителя и тех лиц, к которым он должен был ехать. Тут поднимался прах не только умерших родителей, но даже и прабабушек. Много это стоило нервов и мне, и сестре Анфисе, живущей с моей старой матерью в Новороссийске. Не помогла и моя принадлежность к партии, в которую я вступил. Всякий раз первый секретарь райкома ставил палки в колеса, и я не мог получить разрешение на поездку. Помог случай.

Весной 1957 года по республике шли предвыборные собрания. Как-то я пришел на одно из таких собраний в гостиницу у Голенды. Я не люблю выступать на собраниях, но на этот раз что-то побудило меня обратиться к присутствующим с речью. После собрания грянула музыка и начались танцы. И тут к столу, где я сидел, подошел незнакомый человек лет сорока, представился, что он член областного комитета партии Ярослав Ширмер и хотел бы со мной поговорить. Начался разговор. Ширмер поинтересовался, как я живу и нет ли у меня каких-либо неприятностей. Я ответил, что живу хорошо, работой доволен, но вот одно обстоятельство отравляет жизнь — секретарь райкома партии мешает моему свиданию с матерью, которую я не видел почти сорок лет. Ширмер улыбнулся и сказал:

— Знаешь, у меня есть в Праге друг — министр иностранных дел Вацлав Давид, — он, кстати, из наших мест. Завтра же я переговорю с ним по телефону, и ты получишь разрешение на поездку в Союз…

Я был ошеломлен. Но на другой же день утром телефонный звонок:

— Доктор, товарищ Ширмер извиняется, что не может переговорить с вами лично. Он срочно выехал и просил передать вам, что разговор с министром Давидом окончился благополучно. Вы просто формально должны подать прошение в ЦК партии в Прагу и вам дадут разрешение на поездку в СССР к вашей матери.

Ситуация менялась. Я сейчас же послал прошение и дней через десять получил положительный ответ.

Начались сборы, лихорадочные и очень беспокойные. Шутка ли — столько лет не был на родной земле. Ехать одному не хотелось. Жену что-то задержало дома, Юра уже работал в Словакии. Оставался один Алешка, пятнадцатилетний парнишка, которого я решил взять с собой, чтобы показать ему нашу

настоящую Родину. Как это часто бывает при путешествиях, вышла какая-то заминка с билетами. Я нервничал, телефонировал, ездил, писал во все инстанции, и вот, наконец, и паспорт, и драгоценный билет в руках.

…Собираясь в Союз, я ожидал увидеть массу руин, пепелищ и обгорелых зданий. Ехал сюда, как на дорогое кладбище. Но — чудо! — за всю дорогу я не увидел ни одного обгорелого кирпича, ни одного разбитого здания. В разительном солнечном блеске все стояло новенькое, красивое, утопающее в буйной зелени. Было над чем задуматься! Что же это за народ, который, потеряв более 20 миллионов жизней, снова воскресил свою великую во всех отношениях Родину?..

Наконец, после долгого пути, поезд мягко пристал на невзрачном вокзале Новороссийска. С жадностью вглядываюсь в черты незнакомого мне города, где в марте 1920-го нашла себе могилу Добровольческая армия. На перроне мало людей — город, по-видимому, мало посещается туристами. Зорко всматриваюсь и ищу кого-нибудь из своих. Вдруг взгляд останавливается на знакомой по фотографиям фигуре. Это сестра Анфиса, которую я оставил когда-то девятнадцатилетней девушкой. Ее бы я вряд ли узнал: на перроне стояла хотя и не дряхлая, но все же шестидесятилетняя женщина и близорукими глазами искала меня. С сестрой была ее подруга, она помогла нам сложить вещи в такси, и мы покатили к дому, где меня ждала мать…

Квартира на втором этаже. Обгоняя сестру, нетерпеливо звоню. Сжавшись в комок, жду и вот слышу за дверью неторопливые шаги. В приоткрытую дверь вижу лицо нестеровской монашенки — строгое, сухое. Темные внимательные глаза без улыбки упорно смотрят на меня. И только одна фраза:

— Где же вы так задержались? Я ведь вас давно жду с обедом…

И ни слова больше, только сухой и короткий поцелуй. Ни истерик, ни выкриков, ни судорожных объятий. А оба мы крепко любим друг друга…

Сразу же замечаю, что я — весь в прошлом. А все мои — только в настоящем. О прошлом не хотят говорить… У всех же нас, вместе взятых, нет будущего, ибо жизнь уже прошла и ничего впереди. Мы прожили совершенно разную жизнь и не понимаем друг друга. Затяжная разлука рвет даже родственные, кровные связи. Правда, сестра тоже отчасти в прошлом, но только одним кусочком. В первый день войны она потеряла единственного сына. У нее до трехсот его писем, и она живет ими. Другое ее не интересует.

Как-то сестра попросила меня сходить на городской рынок за

рыбой. Пошли с Алешей. Для нас тут все ново. Вот взгляд скользнул по необыкновенному ларьку, где продавали мясо, прошу Алешку встать напротив и делаю несколько снимков. Бродим по базару. На душе легко, радостно… Вдруг чувствую, как кто-то берет меня за локоть. Оглядываюсь, а за моей спиной стоит милиционер и твердо предлагает следовать куда-то:

— Идите за мной, гражданин…

— Куда? — холодея, спрашиваю я.

Милиционер строго заявляет, что мы задержаны, понимай — арестованы, и ведет нас через весь рынок к какому-то сарайчику. Здесь, вероятно, канцелярия милиции: столик, телефон, два стула. На стене трафаретные плакаты с изображением вождей. На меня смотрят иронический Булганин и плутоватый Никита Хрущев. Спрашиваю милиционера, за что нас задержали. Лейтенант отвечает вопросом:

— Почему вы, гражданин, фотографировали ларек?

— Как почему? Интересно! Разве это военный объект или предмет пограничной полосы? Я турист, приехал сюда отдыхать. А тут какой-то паршивый ларек с мясом и, пожалуйте, мы — арестованы…

Офицер милиции слушает меня внимательно — он впервые видит иностранца и насторожен. Он звонит высокому начальству:

— Товарищ капитан, я задержал двух чехословаков. За что?.. За… что с ними делать?

Ответа человека, находящегося на другом конце провода, не слышно, но нас тут же отпускают. Тогда я спрашиваю милиционера:

— А вы, лейтенант, вероятно, ходили за нами по пятам, когда мы пришли на рынок?

— С чего вы взяли? Просто ко мне прибежали несколько граждан и сообщили, что иностранцы снимают рынок. Знаете ли, у нас строгая бдительность всего населения…

«Ну и страна, ну и граждане! — подумал я. — С такими не пропадешь!» Подняв аппарат, направил, было, его на собеседника, сказал:

— Разрешите, товарищ лейтенант, на память?.. За вашу бдительность…

Но тут офицер милиции поспешно закрыл лицо руками и с ужасом закричал:

— Нельзя! Нельзя!.. Вы с ума сошли?..

Я опустил аппарат и, прощаясь, поинтересовался не без иронии:

— Скажите, по совести, просто, как человек человеку, неофициально: могу я вообще в Союзе фотографировать?

— Лучше не снимайте. Это вернее!

— Нет, все-таки буду снимать, — сказал я, и мы покинули сарай, получив таким образом с сыном боевое крещение в кутузке советской милиции.

Из Новороссийска мы съездили пароходом в Сочи — навестить мою младшую сестру Катю, которая 14 лет провела в концентрационном лагере в Сибири, за Полярным кругом. Мне до сих пор неясно, за что она сидела. Позже Катя была реабилитирована, даже получила от правительства 120 рублей вознаграждения за напрасно проведенные ею в условиях сибирской каторги 14 лет. Признаться, привела в недоумение ее незлобивость по отношению к такому правительству. Я не могу забыть, как она едва ли не восторгалась:

— Смотри, нас не только восстановили во всех правах, но еще и по сто двадцать рублей дали! Я за них часы купила и даже плащ…

Терпелив, незлобив русский человек. Поистине, пути Господни неисповедимы, и непонятны все сложные изгибы души человеческой…

Времени свободного в моем отпуске оставалось много, чем-то его надо было занять, и вот, как пришло в голову — не знаю, но я решил съездить в Вешенскую к Михаилу Александровичу Шолохову.

Звоню. Отозвалась жена Шолохова Мария Петровна, которую я попросил позвать к телефону Михаила Александровича. И вот слышу отдаленный голос:

— Кто у телефона? Говоришь, казак из Чехословакии? Ну да, конечно, приезжай! О чем разговор — приезжай!

И вот, благодаря отменной любезности начальника Новороссийской станции, мы с сыном летим пассажирским поездом в сторону тихого Дона…

В окне бегут ровные, как стол, кубанские степи. Поезд пересекает реку Кубань, мелькает преддверие Ростова, утопающий в зелени Батайск — и мы на границе донской земли. Жирный чернозем вплотную подступает к полотну железной дороги, у Аксая мелькает широкая водная гладь Дона, издали встает серебряный купол войскового собора на Новочеркасской горе… Тут под водительством Подтелкова зарождалась советская власть на Дону. Проскакиваем Глубокую — здесь был ликвидирован отряд легендарного белого партизана Чернецова… Но вот и глухой степной поселок Миллерово. Пора выходить. Дальнейший путь предстоит продолжать в автобусе.

Случайный попутчик, возвращающийся из коммерческой поездки в Ростов — груши продавал, сокрушенно пожимает

плечами и говорит, что после обеда автобусы на Вешенскую уже не идут. Простояв часа полтора на пыльном перекрестке с надеждой доехать на попутной машине, возвращаемся на станцию. Там, к нашей радости, видим маленький синий автобусик, переполненный людьми. Табличка объясняет — направление на Базковскую, это в трех километрах от Вешек. Но как попасть в желанную посуду? Обращаюсь к старшему диспетчеру, объясняю, мол, мы из Чехословакии, едем к Шолохову. Парень тут же высаживает из автобуса двух местных граждан, уговаривает их отложить поездку на завтра, и мы с Алешкой водворяемся на первые места. В Ольховом Роге остановка, чтобы утолить жажду, так как жара нестерпима и суховей буквально высушивает слизистую рта и носа до такой степени, что перестаем чувствовать нежнейшие ароматы.

…Пылит дорога, горизонт бесконечен, солнце быстро катится к западу, и вот в розовых сумерках мы въезжаем в хутор Базковский, теперь переименованный в станицу. До Дона талями, по песчаным кучугурам — не менее трех километров. Вешенская — на другой стороне реки. К счастью, в Вешенскую направляется несколько попутчиков, и мы уговариваем упрямого шофера довезти нас до переправы.

Южная теплая ночь горит изумительно крупными звездами. Чувствуется близость большой реки, и на другом, высоком берегу блестят одинокие огоньки казачьих куреней.

— А во-о-он там, на бугре, дом Шолохова. Смотрите, в нижнем этаже еще светится, — говорит наш новый знакомый, политработник, едущий по делам в Вешки.

Ночью ждать парома долго. Но вот из темноты выныривает перевозчик и предлагает переправиться на баркасе. Устраиваемся на среднюю скамью. Напротив — две пожилые казачки с узлами и сумками. Опустив через борт руку в священную для меня воду батюшки-Дона, пропускаю ее между пальцами, мочу разгоряченный лоб и пью ее, крестясь, как причастие. Старуха-казачка, подавая мне эмалированную дорожную кружку, приговаривает:

— Пейте, пейте донскую водицу — она сладкая, легкая… Из нашего кормильца-Дона…

Но вот баркас мягко зашуршал у прибрежной гальки — и мы под крутым яром, на котором в еле видной синеве маячит старинная церковь. Поднимаемся по песчаному спуску к станице, подходим к так называемому Дому колхозника — это небольшая гостиница, помещенная в одноэтажном казачьем курене. В слабо освещенной передней нас встречает пожилая женщина в белом, по-казачьи повязанном платке. Это — заведующая гостиницей.

Узнав от нашего спутника, что мы из Праги, вводит нас в небольшую комнату с двумя кроватями, этажеркой, телефоном и керосиновой лампой на лежанке печки. Спрашиваю:

— Можно соединиться с квартирой Шолохова?

— Пожалуйста, поднимите трубку и попросите соединить с Михаилом Александровичем.

Через минуту голос:

— Квартира Шолохова. Кто говорит? Рекомендуюсь и через минуту слышу:

— Это ты земляк из Чехословакии? Ты что же это так поздно? Ты клетский? Что же это ты за сорок лет не научился по новой орфографии писать?

Боже мой, Шолохов.

— Негде было научиться, Михаил Александрович! — отвечаю. — Думаю, что лучше грамотно писать по старой, чем безграмотно по новой.

— Ты где учился-то? В Усть-Медведице? Эх вы… казаки и евреи всегда космополиты…

— Но почему же, Михаил Александрович? — спрашиваю, удивленный.

— Да так уж… Ты где?

— В Доме колхозника.

— Так вот, завтра в полдевятого ко мне. По-казачьему получишь яичницу и прочее. Придешь завтракать! Ты с сыном? Ну, вот и хорошо!..

Ночь. Сон, как водой, смыло. За окном где-то совсем близко, надсадно стрекочут кузнечики — веселые музыканты степи; вдали чувствуется ток изумительно близкой сердцу реки. Дон… Земля донская… Не осилив всей сложности переживаний, чувствую, как по щекам стекают соленые слезы, слезы терпкой любви к навсегда покинутому дому. Господи! Как хорошо вокруг и как тяжело на душе…

Часов в пять глянул в окно и ахнул — напротив плетень, баз и милая глазу соломенная крыша, складной желто-серой шапкой нависшая над деревянным крыльцом донского куреня. Надрывно ревет корова, чующая близость попаса, во дворе деловито расхаживают куры, но на улице пока ни души. Бужу Алешку, и с Иваном Кузьменко, нашим новым знакомым, спускаемся по крутому песчаному спуску к Дону, прямо под домом Шолохова. На ясной глади широкой реки дымится испарина. Тишина. На стремени Дона несколько рыбачьих лодок, справа у переправы небольшой черный буксирик. Вода теплая, но утренний ветерок рябит гладь, нагоняет мурашки на обнаженное тело. Хорошо!..

Бодрые возвращаемся в гостиницу. Уже около восьми утра.

Переодевшись, идем к дому писателя. Дом Шолохова огорожен зеленым дощатым забором, где поставленные в тесный притык доски не позволяют видеть, что делается во дворе. У калитки несколько человек штатских. Я заявляю молодцу лет двадцати пяти, вероятно садовнику или слуге, что мы из Чехословакии и просим сообщить о нас Михаилу Александровичу.

— Я знаю, — говорит он, — но Михаил Александрович только в четыре утра вернулся с охоты и сейчас спит. Подождите, я спрошу хозяйку, когда вам прийти.

Время пробежало быстро — и мы снова у калитки писателя. Перед входом тот же слуга останавливает нас и говорит:

— Хозяин хочет встретить вас по-казачьи, перед домом! — и исчезает в небольшой двери в темном просвете входа. А через минуту слышатся быстрые легкие шаги и, вытянув вперед для приветствия обе руки, к нам выходит человек ниже среднего роста, с редкими светлыми пучками волос над высоченным лбом.

— Здравствуйте! Так вот вы какие… — говорит, крепко обнимая и троекратно целуя меня и Алешу, сам Михаил Шолохов… Замечаю коротко остриженные, чуть подернутые сединой усы, редко поставленные, прокуренные желто-серые зубы. Шолохов в просторных штанах, в трикотажной рубахе с короткими рукавами. Говорит быстро, резко размахивая правой рукой, и все время улыбается. Поражают светло-голубые, все видящие, внимательные глаза.

Несмотря на вчерашнее «ты» по телефону, сейчас, видя меня с бородой, Михаил Александрович обращается уже на «вы»:

— Это что же вы пишете: в конце сентября домой еду? Это, где же дом-то, а?

— В Чехословакии, Михаил Александрович!

— Ай, ай, ай! Да разве же так можно? Дом-то тут, на Дону!

— Этот вопрос довольно сложный. Сорок лет не смахнешь со счетов, — говорю я, направляясь за Шолоховым, который вводит нас в свой рабочий кабинет.

Алеша с фото- и киноаппаратами устраивается на кушетке. Разговор вертится вокруг моей биографии. Но вдруг Михаил Александрович обрывает беседу:

— Да, что же это я? Соловья-то баснями не кормят. Нужно сообразить завтрак… Я сейчас!

Алешка щелкает фотоаппаратом, но Шолохов быстро уходит в соседнюю столовую, откуда возвращается с супругой Марией Петровной.

— Так вот смотри, казаки из Чехословакии… Знакомься! — представляет нас Михаил Александрович своей жене. Целую ее руку, и мы входим за хозяйкой в большую светлую столовую.

Вдоль, во всю комнату, стол, уставленный бутылками, закусками и всякой снедью. В глаза бросается горка красных помидоров, шампанское и небольшой граненый графин со «Столичной». На стене у входной двери «Лес» Шишкина, рядом большие стоячие часы с маятником. Ковров нет. Над столом висячая лампа с абажуром. Садимся, и я обращаюсь к хозяину:

— Михаил Александрович, скоро «Поднятую целину» закончите?

— Да, думаю, что к концу года будет готова, — отвечает Шолохов и сам спрашивает: — Ну, как там казаки?

— Много нас там было… Собирались, пели казачьи песни, о Доне думали… Многое передумали…

— А что же это Глазков и Поляков так меня разделывают? Какой это, мол, Шолохов — тот, что продразверстками занимался, когда Дон кровью харкал? А не знают, как я много для казаков сделал. Помню, после гражданской был я как-то у Горького, встретился там со Сталиным. Говорю ему: «Что же это вы, Иосиф Виссарионович, казаков-то ни в авиацию, ни в технические части не пускаете? Ведь народ-то — хоть гвозди из него делай, толковый…» Сталин соглашается: «А ведь это правда! Есть у вас завтра время? Зайдите к Клименту Ефремовичу. Я с ним сейчас по телефону переговорю». На другой день я зашел к Ворошилову и с тех пор наши казаки всюду были. Да… Я ведь казачий националист…

Закуски сменяются одна за другой. Подают битки, цыплят, скворчащую жареную картошку, помидоры каждый режет по своему вкусу. Пьем водку, вино. Шолохов много курит. Постоянно подливая «Столичную», говорит он быстро, не успевая выбросить всю массу накопленного им в скупых отточенных фразах. Речь полна юмора, а глаза лучатся в лукавой подкупающей усмешке.

— Михаил Александрович, а у нас думают, что вы много пишете, — говорю я, — но почему-то не печатаете…

Шолохов, не отвечая, поднимает рюмку на уровень глаз, смотрит на замысловатый рисунок стекла и; по-видимому, желая переменить разговор, бросает:

— Давайте выпьем! За здоровье!..

Из соседней комнаты выбегает девчурка лет пяти с темными, как сливы, косо поставленными глазами. За нею входит Светлана, старшая дочь писателя. Она приехала в гости к отцу с Камчатки, где ее муж, Александр Турков, служит во флоте. Еще входит девушка лет двадцати, знакомая мне по фотографиям из чешских журналов. Это младшая дочь писателя Машенька.

— Знакомьтесь, — представляет Шолохов. — На этой неделе успела замуж выскочить…

Машенька с сестрой садятся на широкий диван у стола, и я предлагаю послушать кое-что из своих стихов о Родине.

Шолохов слушает внимательно, спрашивает о матери, о том, как я уехал из России, где мыкал горе по чужим странам… И я рассказываю ему о перипетиях моей мозаичной жизни, о казаках, оторванных от родных степей тихого Дона, о том, как мы постепенно вымираем в чужих краях…

— Вы не были в Чехословакии? — спрашиваю потом Михаила Александровича.

— Нет, но хотел бы увидеть эту чудесную страну — уж больно вы ее хвалите!

— Если приедете в Чехию, то обязательно к нам, в желивский курень, милости просим, — понемногу завершаю я удивительную встречу с великим русским писателем. Кажется, только что пришли, а оказывается, просидели и проговорили почти шесть часов! Но Шолохов категорически заявляет:

— Я никуда не отпущу вас, пока не накормлю настоящей стерляжьей ухой у Дона…

— Но мы же завтра утром уезжаем, Михаил Александрович. Автобус идет в восемь утра, — пытаюсь сопротивляться.

— Нет! Завтра Алеша пойдет на охоту на перепелов, а мы с вами нынче закатимся к Дону на рыбалку, на ночь! Как же это так — быть у меня и не отведать донской ухи? Это уж, извините, не пойдет! — настаивает гостеприимный хозяин. — Я же говорил вам, что я казачий патриот и свято блюду все наши обычаи. Ничего не поделаешь, да…

Пораженный неожиданным и безусловно приятным для меня предложением, соглашаюсь и спрашиваю:

— А когда же нам прийти, Михаил Александрович, и куда?

— Никуда далеко не уходите. Ступайте отдохнуть и ждите. В семь вечера за вами заедут машины — и айда!..

… Еще ни один рыбак, пожалуй, не выразил всех своих восторгов по поводу уловов, удивительных приключений на рыбалке у реки, и я не буду пытаться передать свое тогдашнее состояние. Одно то, что я встретился с родимым Доном, что судьбе угодно было сблизить меня с Шолоховым, — разве этого мало?..

Михаил Александрович побеспокоился потом, чтобы меня провезли машиной в родную станицу. В Усть-Медведице я побывал у моей 90-летней тетки Клавдии, которая с 1918-го ждала своего единственного сына, работающего шофером такси в Париже. Его в Союз не пускало советское консульство.

А мы с Алешкой простились с Вешенской и, уже на больших скоростях пробежав достопримечательные места Москвы,

Ленинграда, Киева, пересекли пограничный Чоп и оказались дома.

Конечно, самым ярким впечатлением от поездки осталась встреча с Шолоховым. Я буквально жил ею — рассказывал о писателе знакомым казакам, писал Михаилу Александровичу письма, не надеясь получить на них ответ. До меня ли ему, когда ежедневно приносили на стол не менее пятидесяти писем со всех концов мира. Но вот в январе 58-го приходит письмо, где обратный адрес указан одним словом — «Вешки»… Это была весточка от Шолохова. Михаил Александрович писал:

«Дорогой Николай Андреевич!

Добро вам — закоренелому домоседу — судить и осуждать меня за молчание. А каково мне, бедному, ежели весь год живу на колесах? После вашего отъезда — поездка в Москву и длительное пребывание там, затем повторно Ростов, Сталинград, Куйбышев, потом на три недели Крым, потом почти на три месяца Западный Казахстан (охота), следом — месяц в Москве, и вот только что добрался до дома и… около тысячи шестисот писем и рукописей на столе. Каково? Это надо понимать и сочувствовать человеку, а не судить строго.

Но если говорить серьезно, я с ужасом думаю: когда же я возьмусь за перо как писатель? Ведь большинство писем это не „здорово да прощай“, а просьбы заключенных, молодых писателей, обиженных местными властями, словом, такие письма, по которым надо действовать немедленно и промолчать нельзя. Надеюсь, вы это понимаете, милый доктор? Не обижайтесь и впредь, если буду неаккуратным корреспондентом.

Что касается Пузикова и Спиридона, то от них вы вообще едва ли дождетесь ответа… Первый, как и всякий председатель РИКа, занят с утра до ночи, а Спиридон даже родной жене за четыре года войны ни одного письма не написал из-за великой нелюбви к этому делу. После демобилизации он оправдывался перед женой (он ее называет — „моя Ехимовна“) так: „А чего бы я тебе писал? Раз не получала из военкомата извещение о моей погибели, значит, я живой“…

Берите летом жену и Алешу и приезжайте на тихий Дон рыбачить. Жизнь в Вешках недорога, сымете комнату, и перед вами — Дон со всеми его прелестями. Купите и освойте спиннинг, пригодится! Ей-богу, советую! Желаю вам здоровья и бодрости. Сердечный

привет вашей супруге и Алеше. Мария Петровна кланяется.

Ваш М. Шолохов
22.1.58. Вешки

Мой приезд в Чехословакию, возможно, состоится в мае этого года. Когда прояснится у меня с работой, махну на вашу вторую родину. Вас извещу заблаговременно.

м. ш.»

Надвигалась чахлая чешская весна. Первого апреля — время шуток, обманов, почти всегда милых и невинных, — держи ухо востро: надуют, а потом долго будут смеяться над простофилей. Чехи вообще большие шутники, любят юмор, понимают его. Жена, замещая в местной школе учителя русского языка, пришла из школы и радостно сообщила:

— А ты знаешь, Шолохов в Праге! То есть не в Праге, а в Чехословакии…

На мой недоуменный вопрос, откуда это у нее, Оля спокойно ответила:

— Да в школе новая учительница и другие говорили, что он приехал сюда: вчера по радио сообщали.

Я замер от радости, но тут же вспомнил:

— Оля! Да сегодня же первое апреля! Ну, конечно же, они тебя разыграли…

Но вот вечером нахожу в «Свободном слове» сообщение о приезде и портрет Михаила Александровича. Он тут на короткое время. Мария Петровна в Карловых Варах… Тут же решено: завтра в пять часов утра едем в Карловы Вары. Беру пятидневный отпуск. Срочно телеграфирую: «Писателю Шолохову, гостиница „Империал“, Карловы Вары. Дорогой Михаил Александрович. Завтра третьего апреля приеду к вам с женой. Прошу принять. Николай Келин из Желива, клетский казак».

В Карловых Варах всей семьей мы были около полудня. Но там с огорчением узнаю, что Шолохов неожиданно выехал еще вчера в десять утра.

— Как? Но я же ему послал телеграмму!

— Да, она пришла час спустя после его отъезда.

— Куда же он выехал?

— Направление не сообщили, — отвечает управляющий гостиницы и показывает книгу посетителей. — Вот смотрите — их было шесть человек и с ними два тайных. Уехали на трех

машинах.

Читаю: М. А. Шолохов, М. П. Шолохова, М. М. Митрофанова, В. Г. Митрофанов, М. М. Шолохов, Ф. Пономарев.

— Кто это, этот Митрофанов? — спрашиваю служащего.

— Муж дочери Шолохова.

— А этот Ф. Шахмагонов?..

— Не знаю…

Принимаю решение ехать в Прагу, в посольство. Там размотаем туго затянувшийся клубок.

С трудом удается узнать, что семья Шолохова остановилась в так называемой вилле Конева, или, как ее тут еще называют, Карловарской. В ней останавливаются великие мира сего по возвращении с курорта, ожидая отлета в Москву. Вилла до 1945 года принадлежала какому-то чешскому магнату с немецкой фамилией, а после войны была подарена правительством маршалу И.С Коневу. Ему она оказалась ненужной, и он, в свою очередь, подарил этот роскошный особняк Центральному Комитету компартии Чехословакии. Там я и встречаюсь с Шолоховым.

— Так вы приехали? Вот хорошо! — обрадовался Михаил Александрович. — А я замотался, спешу. Сейчас опять куда-то увозят. Были с Гришиным у Зденка Неедлого.

— А когда же к нам? — спрашиваю, понимая, что сейчас, в столь неожиданный приезд, это совершенно неисполнимо. — К казакам нужно — вы же наш!

— Да я приехал от казаков — они ведь там, — говорит Шолохов, и я замечаю на нем неважнецкое пальтишко, на шее какой-то полосатый шарфик, в руках — помятую серую шляпу.

— Михаил Александрович, там одни казаки, а тут другие — заграничные. Как они вас ждут!

Шолохов молча улыбается.

— Нет, нет, сейчас и завтра, в субботу, все занято. Езжайте домой. В субботу жду вас здесь в семь вечера, — говорит Шолохов, — посидим, выпьем водки и вдоволь наговоримся…

До субботы останавливаемся у знакомых. Это русско-чешская семья. Он — художник-график, она — сестра знаменитого в свое время основоположника футуризма Давида Бурлюка, того самого, который когда-то посвящал молодого бунтаря Маяковского в тайны непривычной для русского уха скандовки грубого стиха.

Бурлюк живет в Америке. Как-то он навестил меня со своей женой, и я увидел хитрого, прожженного всеми горнилами 70-летнего старика, юркого, суетливого. Глаза у него смеющегося озорного подростка, они обшаривают вас со всех сторон и оценивают быстро и безошибочно во всех измерениях. Бурлюк

сидит за столом в столовой и с аппетитом ест гуся. Он все хвалит, всем доволен. «Давид Давидыч, скажите на милость — ну к чему это вы тогда с Маяковским разводили все эти желтые кофты, бубновые валеты и прочую мерехлюндию? Какой смысл был во всем этом?» Бурлюк, дожевывая что-то, вытирает рот салфеткой и, лукаво прищурив смешливые глаза, выпаливает: «Жить-то надо было, Николай Андреевич. Русскому обществу тогда скучно было — вот мы и выдумывали что-нибудь новенькое. Старое-то надоело». Хитрый дядя, думаю, смотря на Бурлюка. Раньше бы он этого не сказал, а теперь, на восьмом десятке, пожалуй, все можно. Бурлюк рассказывает, как они с женой путешествовали по СССР, как были гостями советского правительства. Показываю ему картины, читаю стихи и очерк о Шолохове. Он все хвалит, со всем соглашается. Вообще интересно было посмотреть на этот осколок начала XX столетия, бывшего бунтаря и прожигу. От прежнего Бурлюка не осталось ничего…

Побродив два дня по Праге, в назначенное время мы явились на виллу Конева. В вестибюле нас остановили, и какой-то арапистый мужик, представившийся заместителем посла, заявил, что к Шолохову идти нельзя — его ждут на телестудии.

— Хорошо, мы будем ждать Михаила Александровича здесь, — сказал я. — Мы приглашены. Я должен передать ему вот этот портсигар.

— Знаю, но он не должен вас видеть — мы потом не доставим его на телестудию. А портсигар передайте зятю, секретарю или шоферу.

— Нет! Эту вещь я могу передать только лично. К тому же заявляю, что буду ждать Шолохова здесь хоть на пороге. Приедет же он сюда в конце концов!..

Видя, что мы настроены решительно, заместитель посла Клочко разрешил нам пройти в салон, где мы встретились с Шолоховым два дня назад. Следом за нами вошли Клочко, секретарь Шолохова Федор Федорович Шахмагонов, тип суровый, неприступный и крайне несимпатичный, потом шофер Шолохова Федя Пономарев и Володя Митрофанов, зять писателя. Шахмагонов недружелюбно посмотрел на меня и закурил папиросу.

— Как же, я вас знаю — вы Келин. Это вы в вашем последнем письме писали, что пили воду из Дона, как причастие… Как же, читал… — затягиваясь дымом и исподлобья поглядывая на меня, заговорил этот человек, не знаю, каким путем попавший к Шолохову. Вид у него был, судя по атлетической фигуре и основательным физическим качествам, далеко не секретарский.

— А я вас не видел в Вешках, Федор Федорович.

— Да я там редко бываю — наездами. Больше живу в Москве. Ну, думаю, секретарь…

Федя Пономарев все время держался около меня, и я спросил его:

— Федя, вы казак?

— Да, вешенский.

— А эти? — Я показал глазами на Шахмагонова и Клочко. Федя молча отрицательно сделал знак головой — какие, мол, казаки! Клочко тем временем куда-то исчез, потом возвратился и, довольно отдуваясь, заявил:

— Ну, слава Богу, наконец-то Михаил Александрович уехал! Я вскакиваю и, смотря на него в упор, почти кричу:

— А знаете, Валентин Федосеевич, что это бесчеловечно и гнусно с вашей стороны!

— Да успокойтесь — Шолохов тут не в последний раз. Даю слово казака, что летом привезу его к вам в Желив. А Михаил Александрович ни о чем не знает. Он даже не подозревал, что вы здесь…

Прощаясь с Шахмагоновым, я все-таки высказал и ему:

— А вы совершенно бессердечный человек, Федор Федорович. Вы даже представить себе не можете, какую боль вы нам причинили, расстроив сговоренную встречу с Михаилом Александровичем.

— Я привык ко всему, и на меня никакие чувства уже не действуют, — ответил Шахмагонов, мрачно глядя на меня и нетерпеливо ожидая, когда, наконец, мы уйдем…

На вилле гаснут огни. Притихшей ночной Прагой мы выбираемся за город. Отъехав от Праги километров пятьдесят, спрашиваю Олю, куда она дела портфель с моими сокровенными записками, письмами, тетрадями, и холодею, узнав, что в суматохе портфель забыл в вестибюле виллы. А там в одном из писем мой закадычный дружок пишет: «Не удивляйся Шолохову, что не пишет тебе и не кидается тебе на шею. Он сам, бедняга, сидит на кобыле задом наперед и держится за хвост, чтобы не упасть… Пойми это»… И вот портфель с подобными письмами лежит теперь в вилле ЦК партии…

Повернув машину, молча гоню ее обратно. В час ночи подъезжаем к освещенному зданию. Лакей в белом, на нашу просьбу принести забытый портфель, говорит:

— А я его спрятал. Подождите, сейчас принесу. Чешские писатели и журналисты пьют, а я уже три ночи не спал…

В 1960 году, во второй мой приезд в Вешенскую, Михаил Александрович посетовал, что мы не встретились в Праге, и сказал мне, что ничего не знал тогда о нашем визите.

…Моя жизнь уже идет к концу. Уходя с любимой мною земли, оставлю здесь только сумбурные воспоминания да терпкие песни о Родине. Годы ничего не изменили в моем отношении к ней, и я уйду с затаенной мечтой, что настанет время, когда на карте Европы снова загорится неугасимым пламенем дорогое для меня имя — Россия…